ГЕОРГІЙ ИВАНОВЪ

ПЕТЕРБУРГСКІЯ ЗИМЫ

ПАРИЖЪ
1928

ГЕОРГІИ ИВАНОВЪ

ПЕТЕРБУРГСКІЯ ЗИМЫ

ПАРИЖЪ

Книжное Дѣло «LA SOURCE» («Родникъ») 106, rue de la Tour

1928



ПЕТЕРБУРГСКІЯ ЗИМЫ

Безъ отдыха дни и недѣли,
Недѣли и дни безъ труда.
На сѣрое небо глядѣли,
Влюблялись. И то не всегда.

И только. Но брезжилъ надъ нами
Какой-то божественный свѣтъ,
Какое-то легкое пламя,
Которому имени нѣтъ.

Георгій Адамовичъ.

I

Говорятъ, тонущій въ послѣднюю минуту забываетъ страхъ, перестаетъ задыхаться. Ему, вдругъ, становится легко, свободно, блаженно. И, теряя сознаніе, онъ идетъ на дно, улыбаясь.

Къ 1920-му году Петербургъ тонулъ уже почти блаженно.

Голода боялись, пока онъ не установился «всерьезъ и надолго». Тогда его перестали замѣчать. Перестали замѣчать и разстрѣлы.

— Ну, какъ вы дошли вчера, послѣ балета?..

— Ничего, спасибо. Шубы не сняли. Пришлось, впрочемъ, померзнуть съ полчаса на дворѣ. Былъ обыскъ въ восьмомъ номерѣ. Пока не кончили, — не пускали на лѣстницу.

— Взяли кого-нибудь?

— Молодого Перфильева и еще студента какого-то, у нихъ ночевалъ.

— Разстрѣляютъ, должно быть?

— Должно быть...

— А Спесивцева была восхитительна.

— Да, но до Карсавиной ей далеко.

— Ну, Петръ Петровичъ, заходите къ намъ....

Два обывателя встрѣтились, заговорили о житейскихъ мелочахъ, и разошлись. Балетъ... шуба... молодого Перфилье-

ва и еще студента... А у насъ, въ кооперативѣ, выдавали селедку... Разстрѣляютъ, должно быть...

Два гражданина Сѣверной Коммуны мирно бесѣдуютъ объ обыденномъ.

Гражданина окликаетъ гражданинъ:
Что сегодня, гражданинъ, на обѣдъ?
Прикрѣплялись, гражданинъ, или нѣтъ?..

И не по безсердечію бесѣдуютъ такъ спокойно, а по привычкѣ.

Да и шансы равны — сегодня студента, завтра васъ.

...Я сегодня, гражданинъ, плохо спалъ —
Душу я на керосинъ промѣнялъ.

Объ этомъ безпокоились еще: какъ-бы не промѣнять душу «на керосинъ» безъ остатка. И — кто устраивалъ заговоры, кто молился, кто шелъ черезъ весь городъ, расползающійся въ оттепели или обледенѣлый, чтобы увидѣть, какъ подъ нѣжный громъ музыки, въ лунномъ сіяніи, на фонѣ шелестящихъ, пышныхъ бумажныхъ розъ — выпорхнетъ Жизель, вѣчная любовь, ангелъ во плоти...

Поглядѣть, вздохнуть, потомъ обратно ночью черезъ весь городъ.

Надъ кострами искры золотятся,
Надъ Невою полыньи дымятся,
И шальная пуля надъ Невою
Ищетъ сердце бѣдное твое...

Ну, можетъ быть, сегодня еще до моего не доберется. Чего тамъ!



Петербургская Сторона — Плуталова улица. Мѣсто глухое, настолько глухое, что даже милиція сюда не заглядываетъ. Иначе не обнаглѣлъ-бы какой-то проживающій здѣсь спекулянтъ до того, чтобы прибить у дверей вывѣску о своей

торговлѣ. На вывѣскѣ стоитъ чернымъ по бѣлому: «Здѣсь продаеца собачье мясцо».

На Плуталовой живетъ В., занимаетъ комнату съ кухней въ грязномъ шестиэтажномъ домѣ.

В. — бывшій писатель. Что-то печаталъ лѣтъ пятнадцать тому назадъ, чѣм-то даже «прошумѣлъ». Теперь пишетъ «для себя», т. е. ничего не пишетъ, дѣлаетъ только видъ.

Въ минуты откровенности — признается: «Плюнулъ на литературу — жить красиво, вотъ главное».

Онъ странный человѣкъ. Писанье его безталанное, но въ немъ самомъ «что-то есть». Огромный ростъ, нестриженая черная борода, разбойничьи глаза на выкатѣ — и медовый монашескій говоръ. Онъ то сидитъ недѣлями въ своей «квартирѣ», обставленной разной рухлядью, считаемой имъ за старину, съ утра до вечера роясь въ книгахъ, то пропадаетъ на мѣсяца, неизвѣстно куда.

— Гдѣ это вы были, В.?

Улыбочка. — Да вотъ, на Афонъ съѣздилъ...

— Зачѣмъ же вамъ было на Афонъ?

Та-же улыбочка. — Такъ-съ, надобность вышла. Ничего, славно съѣздилъ. Только, досадно, въ дорогѣ кулекъ у меня украли и съ драгоцѣнными вещами: бутылкой зубровки старорежимной — вотъ-бы васъ угостилъ — и частицами святыхъ мощей...

Черезъ полгода — опять. — Гдѣ пропадали? — Да на Кавказѣ пришлось побывать, въ монастырѣ одномъ...

Вотъ къ этому эстету изъ семинаристовъ, съ наружностью опернаго разбойника, я рѣшилъ пойти переночевать.

Дѣло было такое: я засидѣлся у знакомыхъ на Петербургской сторонѣ (а жилъ въ самомъ концѣ Бассейной). Когда собрался уходить — оказывается, безъ четверти одиннадцать и, если идти домой, обязательно попаду на обходъ и въ участокъ, такъ какъ не только ночного пропуска, но и обыкновенной трудъ-книжки у меня нѣтъ. Ночевка въ милиціи — вещь непріятная, да и вопросъ еще, какъ обернется на утро: мо-

гутъ отпустить, могутъ и отправить въ Чека. Воскликнуть, какъ Мандельштамъ (кстати, смертельно милиціи боявшійся):

Мнѣ ночного пропуска не надо,
Часовыхъ я не боюсь —

было-бы неблагоразумно. У знакомыхъ, гдѣ я засидѣлся, ночевать было негдѣ. Я и вспомнилъ о В., жившемъ неподалеку.

Тяжелаго висячаго замка на входной двери не было — значитъ, дома. Но на стукъ мой никто не отвѣтилъ. Неужели ушелъ? Я постучалъ сильнѣе. Шаги и голосъ В.:

— Что ломишься въ такую рань? Проваливай. До двѣнадцати все-равно не пущу.

Рѣшивъ, что врядъ-ли это ко мнѣ относится, я постучалъ еще и назвалъ себя.

В. сейчасъ-же открылъ. — Голубчикъ! Какими судьбами? Желаете согрѣться? — Онъ пододвинулъ мнѣ рюмку.

Самъ В. уже, повидимому, «согрѣлся» на сонъ грядущій. Воротъ косоворотки разстегнутъ, лицо красное, въ глазахъ маслянистый блескъ. Впрочемъ, это было обычное его состояніе — ни пьянъ, ни трезвъ. Вѣчное «навеселѣ».

Узнавъ о моемъ намѣреніи переночевать, В. какъ-то засуетился.

— Да, если вамъ неудобно, вы скажите, я уйду.

— Что вы, что вы, дорогой. Очень удобно, очень пріятно. Только... — Онъ опять забѣгалъ глазами... — Вамъ-то будетъ-ли удобно?

— Обо мнѣ не безпокойтесь.

— Конечно, конечно... Но будетъ-ли вамъ?.. Крѣпко-ли вы спите?

— Очень. Къ тому-же, чрезвычайно усталъ, — цѣлый день на ногахъ, прямо валюсь...

— Вотъ, вотъ... — В., повидимому, обрадовался. — А то ко мнѣ придетъ тутъ... Одинъ книжникъ... Сосѣдъ... Книжки кой-какія разобрать... Такъ я боялся, не помѣшаемъ-ли мы вамъ.

Я успокоилъ В., что никто и ничѣмъ мнѣ не помѣшаетъ.

Несмотря на мои отказы, онъ уложилъ меня на свою кровать, за рваный штофный пологъ.

— Ничего, ничего — тутъ и вамъ будетъ удобнѣе, и мнѣ спокойнѣе. А я на диванчикѣ пересплю — прекрасный у меня диванчикъ.

Кровать была широкая и мягкая... В. въ другомъ углу комнаты шуршалъ книгами, позванивалъ ложечкой о стаканъ... Сосѣдъ книжникъ не приходилъ....

... Я проснулся. За занавѣской шелъ тихій разговоръ. Говорилъ больше чужой голосъ, вкрадчивый и скрипучій. В. только изрѣдка вставлялъ что-нибудь.

— Отъ Бога-то вы отвернулись. Отвернулись, ладно, очень хорошо. Но мало отъ Бога отвернуться, мало, друзья. Надо еще передъ Нимъ заслужить. Такъ, думаете, онъ васъ и приметъ сразу, такъ и начнетъ помогать, едва крестъ съ шеи долой...

— Да какъ-же заслужить? Церкви ему строить? Акафисты пѣть?

— И церкви, и акафисты, и въ сердцѣ своемъ его одного имѣть. Главное — въ сердцѣ имѣть. Тогда онъ и поможетъ.

— Что-же тогда будетъ, когда поможетъ?

— Все будетъ, все, слышишь. Булки разныя и ветчина, и шпроты, и бѣлая головка — чего хочешь. И не за деньги, хотя-бы по старой цѣнѣ, а даромъ — бери, что желаешь, ѣшь, что желаешь, пей — все безплатно на вѣчныя времена, только его въ сердцѣ держи...

Я осторожно приподнялся и заглянулъ въ прорѣху въ пологѣ. В. сидѣлъ за круглымъ столомъ. Передъ нимъ, спиной ко мнѣ, какая-то фигура въ полушубкѣ. На черепѣ большая плѣшь, окруженная жидкими свѣтлыми волосами. Поза понурая, шея ушла въ плечи...

... въ сердцѣ держи, да. — Говорившій помолчалъ минуту...

— Ну, такъ вотъ, прежде всего, какъ уговорено — пять тыщъ...

— Уже и пять? Вчера было три!

— Пять тыщъ... — повторилъ старикъ, — меньше никакъ не справиться. Потомъ, вотъ записочку эту возьми, переписать надо, знаешь. Да не на машинкѣ, отъ руки. Потрудись во славу его.

В. сталъ, вздохнувъ, отсчитывать деньги. Старичекъ, аккуратно пересчитавъ, спряталъ.

— Ну, мнѣ пора. Покойнички-то мои, вѣрно, безпокоятся — двѣ ночи пропадаю. Все дѣла, дѣла...

— И не страшно тебѣ на кладбищѣ?

— Чего-же страшно? Напротивъ — компанія пріятная.

— И не гадко?

— Что-же такое — гадко? Конечно, если кто еще червивый и лѣзетъ къ тебѣ... А которые долго лежатъ, подсохли... Что-же въ немъ гадкаго? Изъ бабъ такія попадаются экземплярчики...

— Молчи ужъ. Спать потомъ не буду, какъ понаразскажешь...

Старичекъ захихикалъ. — Какой слабонервный! А еще министромъ у насъ хочешь быть. Хватитъ съ тебя и сенатора, когда придетъ наше время, хе... хе... Ну, ничего, главное — помни — его въ сердцѣ держи...

— Г. В., вы спите? — окликнулъ меня хозяинъ, проводивъ гостя.

Я не отозвался. — Спитъ, — пробормоталъ В. Онъ еще долго возился, что-то отпиралъ и запиралъ, звенѣлъ ключами, шуршалъ бумагами, вздыхалъ. Наконецъ, улегся, потушилъ свѣтъ и началъ посапывать. Подъ его посапыванье — заснулъ и я.

Утромъ, когда я уходилъ, В. еще спалъ тяжелымъ и крѣпкимъ сномъ пьяницы.

**
*

«Перепишите и разошлите эту молитву девяти вашимъ знакомымъ. Если не исполните — васъ постигнетъ большое несчастье...»

Дальше шла молитва: «Утренняя Звѣзда, источникъ милости, силы, вѣтра, огня, размноженія, надежды...»

— Странная молитва. Вѣдь, Утренняя Звѣзда — звѣзда Люцифера.

— Странная! Не это-ли велѣлъ В. переписывать его старичекъ, чертопоклонникъ, помнишь, я тебѣ разсказывалъ?

Разговоръ шелъ полгода спустя въ квартирѣ Гумилева, на Преображенской. Сидя у маленькой, круглой печки, Гумилевъ помѣшивалъ уголья игрушечной саблей своего сына.

— Странная молитва! Возможно, что именно В. ее прислалъ, разъ онъ, какъ ты говоришь, возится съ чертовщиной. Но глупо, зная меня, посылать мнѣ такія вещи. Какой-бы я былъ православный, если-бы сталъ это переписывать и распространять?

— Глупо вообще разсылать. Кто-же станетъ переписывать?..

— Ну, положимъ, станутъ. Во-первыхъ, большинство и не разберетъ, въ чемъ дѣло, подумаютъ, просто какой-то акафистъ. А кто и разберетъ, все-таки перепишетъ, пожалуй, если суевѣрный человѣкъ. А, вѣдь, большинство скорѣе суевѣрные, чѣмъ вѣрующіе.

— То-есть, изъ боязни, что съ ними случится несчастье, перепишутъ?

— Конечно.

— Какая чушь!

Гумилевъ постучалъ папиросой по своему черепаховому портсигару.

— Не такая чушь, какъ ты думаешь. Эти угрозы, повѣрь, не пустыя слова.

— Тогда тебя должно теперь постигнуть несчастье?

— Должно. Несчастье будетъ на меня за это направлено, я не сомнѣваюсь. Не улыбайся, я говорю совершенно серьезно. Кто-то сознательно послалъ мнѣ вызовъ. Я сознательно, какъ христіанинъ, его принимаю. Я не знаю, откуда произойдетъ нападеніе, какимъ оружіемъ воспользуется противникъ, — но

увѣренъ въ одномъ, мое оружіе, — крестъ и молитва, — сильнѣе. Поэтому я спокоенъ.

—Удивительно. То В. и его старикашка, теперь эта молитва, твой разговоръ. Какой-то пятнадцатый вѣкъ! Никогда не думалъ, что существуетъ что-нибудь подобное.

— А вотъ, — представь, существуетъ. Можно прожить всю жизнь, ничего объ этомъ не зная — и это самое лучшее. Но легко, случайно, какъ ты съ ночевкой, у В., коснуться чего-то, какой-то паутины, протянутой по всему свѣту — и ты уже не свободенъ, попался, надо тебѣ сдѣлать какое-то усиліе, чтобы выпутаться. Не сдѣлаешь — можешь пропасть. И, замѣть, — до вечера, проведеннаго у В., жилъ ты и никогда ни съ чѣмъ такимъ не сталкивался. А столкнулся разъ, сейчасъ-же тебѣ попадается и этотъ акафистъ, и нашъ разговоръ, и будетъ непремѣнно еще попадаться. Кто-то тамъ тобой уже интересуется. Можетъ быть, мнѣ и прислали этотъ листокъ только для того, чтобы ты его прочелъ. Или, наоборотъ, — охота идетъ за мной, а ты не при чемъ...

— Ты меня пугаешь, — разсмѣялся я.

— Не пугайся, дорогой, — пугаться никогда не слѣдуетъ. Но и шутить съ этими вещами не слѣдуетъ тоже. Но бросимъ этотъ разговоръ — хватитъ. Пойдемъ, прогуляемся...

* *
*

Падаетъ рѣдкій, крупный снѣгъ. Вдоль троттуара бурые сугробы, подъ ногами грязь...

... Желтый паръ петербургской зимы,
Желтый снѣгъ, облипающій плиты...

Впрочемъ, это уже не зима — середина марта. Еще мерзнутъ безъ перчатокъ руки, но дышать уже легко — весна.

Надъ голыми вѣтками «Прудковъ» грузно пролетаетъ ворона. Мальчишки на углу Греческаго торгуютъ папиросами.

— Почемъ десятокъ? — Триста. — Хватилъ!

— Пожалуйте, гражданинъ, у меня двѣсти. — У него липа, берите у меня — двѣсти пятьдесятъ...

... Вонь сѣрной спички, зеленоватый дымокъ папиросы. И у папиросы, закуренной въ этомъ теплѣющемъ воздухѣ — уже особый, «весенній» вкусъ.

— Куда-же мы пойдемъ?

Гумилевъ стряхиваетъ снѣгъ со своей обмерзшей дохи и поправляетъ чухонскую шапку съ наушниками.

— Ты не торопишься? Прогуляемся тогда до Лавры. Мнѣ надо тамъ къ сапожнику.

— Съ удовольствіемъ. Но что за идея подбивать подметки у Лавры, когда сапожникъ есть на твоей лѣстницѣ?

— Ну, мой у Лавры не простой сапожникъ. Я поэтому къ нему и хожу. Умнѣйшій старикъ. Начетчикъ — священное писаніе знаетъ, какъ архіерей, о Пушкинѣ разсуждаетъ. Я Лернера къ нему свести собираюсь — пусть потолкуютъ.

— Какой-нибудь скрывающійся генералъ или профессоръ?

— Ахъ, нѣтъ — мужикъ съ Волги, въ тридцать лѣтъ писать научился. Но умнѣйшій человѣкъ и презабавный. Вродѣ Клюева, только поострѣй. Да ты самъ увидишь.

Мы прошли Старый Невскій и, обогнувъ Лавру, свернули въ какой-то проулокъ. Деревянный заборъ, дворъ, засыпанный снѣгомъ, потомъ сѣни, лѣсенка, наконецъ, узкая дверь съ молоткомъ-колотушкой. Открыла босоногая дѣвченка. — «Къ Ильѣ Назарычу? Дома».

... Проворно работая шиломъ при свѣтѣ коптилки, старикъ въ грязной блузѣ, поблескивая изъ-подъ желѣзныхъ очковъ колкими глазками, говорилъ:

— Вы, Николай Степанычъ, извиняюсь, ошибаетесь. Пушкинъ, Александръ Сергѣевичъ, Россіи не любилъ. До Россіи ему дѣла никакого не было. Душой онъ нѣмецъ, вотъ что. А любилъ онъ, ежели желаете знать, жену да Петра.

— Какого Петра?

— Петра Перваго, Великаго, какъ его зовутъ. А почему великъ — все потому - же, нѣмецъ былъ, не русскій.

— Вы, Илья Назарычъ, заговариваетесь что-то. Пушкинъ нѣмецъ, Петръ Великій нѣмецъ. Кто-же русскіе?

— Русскіе? — Старикъ пристукнулъ пузырь на распластанной подметкѣ. — Хе, хе... Кто русскіе... (Гдѣ я слышалъ этотъ хрипловатый голосъ и это хихиканье? Вѣдь, слышалъ-же?).

— Русскіе? Какъ-бы вамъ сказать... Ну, для примѣра, вотъ вамъ нашъ Санктъ-Петербургъ, — градъ Святого Петра, хе-хе... Кто его строилъ? Петръ, скажете? Такъ вѣдь не Петръ-же въ болотѣ по горло стоялъ и сваи забивалъ? Петра косточки въ соборѣ на золотѣ лежатъ. А вотъ тѣ, чьи косточки, тысячи и тысячи, вотъ тутъ, — онъ топнулъ ногой, — подъ нами гніютъ, чьи душеньки неотпѣтыя, ни Богу, ни чорту ненужныя, по Санктъ-Петербургу этому, по ночамъ, по сей день маются, и Петра вашего, и насъ всѣхъ заодно, проклинаютъ — это русскія косточки, русскія души...

Онъ опять согнулся надъ сапогомъ.

— Трудно на васъ работать, господинъ Гумилевъ. Селезнемъ ходите, рантъ сбиваете. Никакъ подметку не приладишь.

— Это у меня походка кавалерійская.

— Можетъ, и кавалерійская, только, извиняюсь, косолапая...

— Все-таки, Илья Назарычъ, почему-же Пушкинъ нѣмецъ?..

Старичекъ опять захихикалъ.

— А вотъ, я вамъ стишкомъ отвѣчу:

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой стройный, строгій видъ,
Невы державное теченье,
Береговой ея гранитъ.

— Ну, какъ по вашему? Люблю! Что-же онъ любитъ? Петра творенье. Русскому ненавидѣть въ пору — а онъ — люблю. Нѣмецъ! Державу любитъ! Теченье! Гранитъ — нашими спинами тасканный, на нашихъ костяхъ утрамбованный!.. Ну?..

— Я тоже люблю, однако, русскій.

— Ну, это потомъ разберутъ, русскій вы, или нѣтъ... Готовы ваши сапожки. Деньгами платить будете или потомъ мукой разсчитаетесь? Мукой? — Ладно. Сейчасъ вамъ ихъ заверну.

Шаркая, сапожникъ вышелъ.

— Забавный старикъ.

— Очень. Немного тронувшись, кажется.

— Пожалуй. Но умница. Слышалъ, какъ разсуждаетъ? Его-бы въ религіозно-философское общество, а не сапоги чинить... И въ комнатѣ у него какъ мило. Смотри: чистота, книжки разложены. Что это онъ пишетъ, давай, посмотримъ?

Гумилевъ отвернулъ обложку копѣечной тетрадки. На первой страницѣ было старательно выведено:

«Утренняя Звѣзда, источникъ милости, силы, вѣтра...»

— Вотъ ваши сапожки...

Гумилевъ обернулся съ тетрадкой въ рукахъ:

— Что это такое, Илья Назаровичъ?

Старикъ поглядѣлъ изъ-подъ очковъ, пожалъ плечами.

— Такое, что по чужимъ комодамъ шарить не полагается.

— Вы, значитъ, мнѣ это прислали?

— Выходитъ, что я-съ.

— Зачѣмъ?

— Тамъ было указано зачѣмъ — переписать и разослать.

— Да вы сами понимаете, къ кому эта молитва?

Сапожникъ насупился.

— Нѣтъ у меня времени, граждане, къ сожалѣнію, времени не имѣю. Вотъ ваши сапожки. Дозвольте деньги за работу — ждать муки мнѣ несподручно. И, если по сапожной части, ищите, господинъ, другого мастера. Я въ деревню уѣзжаю...

... Гдѣ я слышалъ этотъ голосъ? А! — вотъ что...

— Уѣзжаете? Покойнички безпокоятся? — сказалъ я тихо.

Старикъ посмотрѣлъ на меня насмѣшливо.

— Чего имъ безпокоиться, молодой человѣкъ? Имъ въ землѣ покойно. Это, скорѣе, живымъ слѣдуетъ. Мое нижайшее, граждане.

**
*

Черезъ годъ, подъ грохотъ кронштадтскихъ пушекъ, я шелъ по Каменноостровскому. Меня окликнули. — В., какой-то облѣзлый, похудѣвшій.

— Что съ вами?

— На Шпалерной сидѣлъ. Попалъ въ засаду.

— Гдѣ-же?

— Такъ, изъ-за спирта. Сапожникъ одинъ спиртъ мнѣ доставалъ. Зашелъ къ нему, — ну, а тамъ засада. Три мѣсяца продержали...

— Сапожникъ? Это не въ Лаврѣ, не Илья Назарычъ?

— Вотъ какъ! Значитъ, спите вы не такъ ужъ крѣпко. Вѣрно. Илья Назарычъ. Но, откуда-же вы имя и адресъ знаете?

— Не только адресъ, но и былъ у него и не прочь-бы еще зайти, потолковать. Можетъ, пойдемъ вмѣстѣ?

В. криво улыбнулся.

— Трудновато это: въ декабрѣ еще разстрѣляли. За спиртъ. А жаль — славный спиртъ продавалъ, эстонскій, и бралъ недорого.

II

Лѣтомъ 1910 года, на каникулахъ, я прочелъ въ «Книжной Лѣтописи» Вольфа объявленіе о новой книгѣ. Называлась она «Студія Импрессіонистовъ».

Стоила два рубля.

Страницъ въ ней было что-то много, и содержаніе ихъ было заманчивое: монодрама Евреинова, стихи Хлѣбникова, что-то Давида Бурлюка, что-то Бурлюка Владимира, нѣчто ассирійское какой-то дамы съ ея же рисунками въ семь красокъ.

Я эту Студію выписалъ. Потомъ, у Вольфа, мнѣ разсказывали, что я былъ однимъ изъ трехъ покупателей. Выписалъ я, выписала какая-то барышня изъ Херсона и нѣкто Пѣтуховъ изъ Семипалатинска. Ни въ Петербургѣ, ни въ Москвѣ — не продали ни одного экземпляра. Только мы трое не пожалѣли кровныхъ двухъ рублей, не считая пересылки, за удовольствіе прочесть братьевъ Бурлюковъ съ ассирійскими иллюстраціями въ семь красокъ.

Только мы: я, барышня изъ Херсона и Пѣтуховъ. Трое изъ ста шестидесяти милліоновъ.

О, Русь! О, rus!

Но это потомъ мнѣ объяснили у Вольфа. Тогда-же, выписывая, я испыталъ даже нѣкоторое безпокойство: получу-ли, не распродана-ли?

Студія Импрессіонистовъ внѣшностью не разочаровала.

Форматъ большой, длинный, обложка буро-лиловая, съ изображенiемъ чего-то непонятнаго: можетъ быть, женщина, можетъ быть, домъ. Ассирiйскiе рисунки тоже были недурны, хотя семь красокъ оказались преувеличенiемъ. Красокъ было двѣ, все тѣхъ-же — бурая и лиловая. Содержанiе же, «сплошное дерзанье» — просто меня потрясло. Съ завистью я перечитывалъ стихи про оленя, затравленнаго охотниками:

И вдругъ у него показалась грива,
И острый львиный коготь,
И беззаботно и игриво,
Онъ показалъ искусство трогать.

Или, знаменитыхъ впослѣдствiи «Смѣхачей» — «о, разсмѣйтесь, смѣхачи, смѣюнчики, смѣюнчики...»

Не то, чтобы мнѣ очень нравилось: Бальмонтъ и Брюсовъ были мнѣ гораздо больше по душѣ. Но какъ не позавидовать смѣлости и новизнѣ?

Что все это крайне ново, смѣло и прекрасно, не оставалось сомнѣнiй послѣ вступительной статьи редактора студiи К., очень истово это объяснявшаго.

Я перечелъ эту статью съ почтенiемъ.

Потомъ съ завистью монодраму — переворотъ въ драматическомъ искусствѣ — какъ она тутъ-же рекомендовалась.

Потомъ «Смѣюнчиковъ».

Потомъ снова монодраму...

Естественно, что «еще потомъ», черезъ недѣли двѣ, я отправилъ на почту заказной пакетъ съ десяткомъ буро-лиловыхъ стихотворенiй, безъ опредѣленнаго размѣра, и съ сопроводительнымъ письмомъ на имя редактора К.

Отправивъ, сталъ ждать отвѣта. Нѣкоторый опытъ мнѣ подсказывалъ, что отвѣтъ придетъ не скоро и врядъ-ли обрадуетъ. Но, противъ обыкновенiя, отвѣтъ пришелъ сейчасъ-же. И какой отвѣтъ!

На листѣ шершавой бумаги, тоже лиловато-бурой, — стояло:

— Дорогой другъ. Присланное — шедевръ. Пойдетъ въ ближайшей книгѣ. Привѣтствую и обнимаю...

Да. Это была не «Нива», послѣ двухъ мѣсяцевъ «сомнѣній и надеждъ» возвращавшая рукописи съ неизмѣнной отвратительной припиской: «М. Г. Къ сожалѣнію...»

**
*

Каникулы кончились — я вернулся въ Петербургъ. К., издатель «Студіи», приглашалъ меня, сейчасъ-же по пріѣздѣ, къ нему зайти. Конечно, мнѣ очень хотѣлось это сдѣлать. Знакомство съ вліятельнымъ издателемъ передового альманаха, встрѣча съ такими людьми, какъ Бурлюки или Борисякъ, литературная жизнь, новаторство... Казалось, чего-бы лучше? Къ сожалѣнію, здѣсь было маленькое «но», сильно меня смущавшее...

«Но» — было въ слѣдующемъ. Какъ я пойду знакомиться со своими «импрессіонистами». Вѣдь, тогда обнаружится мой позоръ: шестнадцать лѣтъ и кадетскій мундиръ, съ золотымъ галуномъ на красномъ воротникѣ. Лѣта еще ничего, лѣта можно и прибавить... Но мундиръ...

К. рисовался мнѣ господиномъ вдохновеннаго вида, длинноволосымъ, блѣднымъ, задумчивымъ. Вотъ я написалъ ему, что приду, онъ меня ждетъ. Вотъ я подымаюсь на шестой этажъ, въ его поэтическую мансарду, увѣшанную бурыми картинами и заваленную лиловыми рукописями. Звоню. Онъ смотритъ на меня съ недоумѣніемъ. — «Вы, вѣрно, ошиблись, молодой человѣкъ, это въ третьемъ этажѣ, у полковника, сынъ кадетъ...»

Но, предположимъ, — все обойдется. Онъ-же писалъ, что стихи мои — шедевръ, а вѣдь суть въ стихахъ, а не въ возрастѣ или мундирѣ. Все равно, выйдемъ, мы, напримѣръ, на улицу. Онъ говоритъ — посмотрите, дорогой другъ, солнце сегодня совершенно фіолетовое... А въ это время навстрѣчу генералъ. И, вмѣсто того, чтобы согласиться, — да, вы правы, какъ фіалка, или со вкусомъ возразить: «Фіолетовое?

Я-бы сказалъ, зеленоватое...» — надо вытягиваться во фронтъ (три строевыхъ шага, поворотъ на каблукахъ — ать-два). Онъ предложитъ — зайдемъ въ ресторанъ, поболтать за бутылкой вина. — Извините, мнѣ можно только въ кондитерскую. Да и въ кондитерской бѣги сейчасъ-же къ офицеру. — Господинъ поручикъ, разрѣшите сѣсть...

Послѣ долгаго раздумья, я рѣшилъ выждать, когда уѣдетъ въ деревню старшій братъ, и отправиться къ К. въ его штатскомъ костюмѣ. Я уже примѣрялъ тайкомъ этотъ костюмъ: немного мѣшковатъ, и брюки надо подворачивать — но, въ общемъ, прилично. Пока-же я отослалъ К. тетрадь новыхъ стиховъ, съ припиской, что боленъ и зайду, когда поправлюсь...

... Былъ понедѣльникъ, но я сидѣлъ дома, «отдуваясь», какъ говорилось въ корпусѣ, отъ какой-то «письменной». Было часа два дня. Я съ грустью поглядѣлъ въ окно — въ учебные часы благоразумнѣе не выходить. Вотъ идетъ, напримѣръ, генералъ. — Кадетъ, почему вы не въ корпусѣ? Вашъ билетъ. — Непріятностей не оберешься.

... Генералъ за окномъ перешелъ улицу, осмотрѣлся и завернулъ за уголъ — какъ разъ къ нашему подъѣзду. Это былъ сухенькій, строгаго вида старичекъ, военный докторъ, въ очкахъ и съ малиновыми лампасами... Я отошелъ отъ окна и сѣлъ за неоконченные стихи. Но рифма что-то не подбиралась...

Вдругъ братъ, тотъ самый, на костюмъ котораго я разсчитывалъ, — вбѣжалъ въ мою комнату съ взволнованнымъ видомъ. — Вотъ, — достукался, — пришелъ докторъ изъ корпуса — провѣрять, боленъ-ли ты...

Съ понятнымъ смущеніемъ, я вошелъ въ гостиную. Въ гостиной сидѣлъ тотъ самый сухонькій генералъ, который переходилъ улицу.

— Зашелъ познакомиться, — сказалъ онъ, протягивая мнѣ обѣ руки. — Я — К., — редакторъ «Студіи Импрессіонистовъ»...

***

... Ярко начищенная мѣдная доска. Докторъ медицины К., часы пріема. А повыше, на красномъ суднѣ двери, кнопками приколотъ клочекъ оранжеваго картона:

Клубъ равнодѣйствующихъ.
Асоц-худ-поэт-фут-куб,
Импрессіонистовъ.

Квартира большая, солидная. Пріемная съ тяжелой мебелью — чехлы, люстры, канделябры, бронзовый медвѣдь съ блюдомъ пыльныхъ визитныхъ карточекъ.

На столѣ — старая «Нива», на стѣнахъ — пожелтѣвшія группы: «Военно-медицинская академія 1879 г.», «Ярославль 1891 г.». Все, какъ полагается.

Но вперемежку съ номерами «Нивы» и проспектомъ Эссентуковъ — «Помада» Крученыха, обклеенная золотой бумагой, какъ елочная хлопушка, Альманахъ «Засахаре-Кры» и обличительный увражъ «Тайные пороки академиковъ». И на стѣнахъ, вперемежку съ группами, — картины.

Картины, мало подходящія для докторской пріемной: малиновыя, бурыя, зеленыя, лиловыя. Тамъ сѣрый конусъ на оранжевомъ фонѣ, здѣсь желтый кубъ на блѣдно-синемъ, между ними что-то пестрое, всѣхъ цвѣтовъ, и по пестротѣ — надпись «Астрахан... сельд...»

Это все работы самого К. Подарки друзей и единомышленниковъ по «асоц-худ-фут-куб-у» — украшаютъ кабинетъ.

Въ кабинетѣ, у большого письменнаго стола, въ мягкомъ свѣтѣ лампы — двѣ фигуры. Дымя душистой папироской, заложивъ руки въ карманы мягкой, сѣрой тужурки, поблескивая золотыми очками — докторъ бесѣдуетъ съ паціентомъ.

Сразу видно, что сидящій напротивъ — паціентъ. И врядъ-ли не душевно-больной.

У него видъ желтый и истощенный, взглядъ дикій, воло-

сы всклокочены. Говоритъ онъ заикаясь, дергаясь при каждомъ словѣ, голова трясется на худой, длинной шеѣ. Онъ беретъ папиросу и не сразу можетъ закурить — такъ дрожатъ руки. Закурилъ и сейчасъ-же бросаетъ, хватаетъ новую папиросу, чтобы опять бросить...

Иногда онъ что-то порывисто шепчетъ. Докторъ, поблескивая очками, киваетъ сѣдой головой и дѣлаетъ карандашемъ какія-то помѣтки. Отмѣчаетъ ходъ болѣзни. Пишетъ рецептъ.

Но прислушайтесь къ ихъ разговору.

— Отлично, — говоритъ докторъ. — Форма бытія треугольникъ. Слѣдовательно, душа — треугольна.

— Дддаа, — дергается «паціентъ». — Тттрреугольна иии пппррямоугольна.

— Хорошо, — киваетъ докторъ. — Значитъ, запишемъ: Душа — мысль — треугольникъ. Смерть — чрево — кругъ...

— Ннѣтъ, — волнуется «паціентъ». — Ннѣтъ... Пишите — ччрево — ддрево.

— Но, дорогой мой, вы увлекаетесь. Почему-же древо? Вѣдь наша задача формулировать какъ можно точнѣе...

— Ддрево, — настаивалъ паціентъ. — Ддрево. — Голова его начинаетъ трястись сильнѣе. — Ддрево-ччрево...

— Ну, хорошо, хорошо — не волнуйтесь, милый. Древо, такъ древо. Идемъ дальше. Жизнь. Смерть. Что потомъ? Искусство?..

— Искусство — Укусъ-то! — просіявъ, вставляетъ «паціентъ»...

Докторъ тоже сіяетъ. Находчиво. Поразительно. Глубоко. Укусъ-то. Браво-браво... Но — это не формула. Давайте искать формулу. Что вы скажете о словѣ «Сосудъ»?

Это основополагатель футуризма К. и «геніальнѣйшій поэтъ міра» «Велимиръ» Хлѣбниковъ составляютъ тезисы философскаго обоснованія новаго направленія. Но каждую минуту картина можетъ измѣниться: съ Хлѣбниковымъ сдѣлается страшный припадокъ падучей, и его собесѣднику придется вспомнить о другомъ искусствѣ — врача.

**
*

Эта солидная квартира, эти группы по стѣнамъ, эти малиновые лампасы, золотые очки, неторопливыя манеры сѣдѣющаго профессора, — все это призрачное.

Нѣсколько лѣтъ назадъ въ этой квартирѣ жилъ дѣйствительный статскій совѣтникъ К. Принималъ паціентовъ, ѣздилъ на лекціи, писалъ научныя статьи — дѣлалъ все, что полагается дѣлать, жилъ, какъ полагается жить. Въ свободное время онъ немного занимался живописью, бывалъ на выставкахъ. Но свободнаго времени было мало: начатыя картины по мѣсяцамъ валялись неоконченными. Вонъ тамъ, въ темномъ проходѣ, еще виситъ одна: «натюръ-мортъ» — кувшинъ, два яблока, рыба. Старательно, аккуратно выписано. Дѣйствительный статскій совѣтникъ К. подражалъ фламандцамъ.

Но въ одинъ холодный январьскій день — К. уѣхалъ, какъ обычно, въ госпиталь или въ Академію, и больше не вернулся. Въ его шинели и очкахъ, съ его лицомъ и походкой, открывъ дверь его французскимъ ключемъ, въ эту квартиру вошелъ другой человѣкъ...

Между десятью утра и семью вечера, докторъ медицины, дѣйствительный статскій совѣтникъ К., гдѣ-то въ закоулкахъ засыпаннаго снѣгомъ Петербурга потерялъ свою прежнюю душу.

Вотъ разсказъ его самого:

— ... Шелъ черезъ мостъ — захотѣлось размять ноги. Думалъ о дѣлахъ — паціентахъ, лекціяхъ... Новыя калоши еще, помню, сильно скрипѣли. Ничуть не былъ ни взволнованъ, ни въ какомъ-нибудь особенномъ настроеніи. И у самой Троицкой площади — лошадь на боку, и ломовой хлещетъ ее, чтобы встала, — все по глазамъ, по глазамъ... А она встать не можетъ, только дергается... И въ эту минуту вспыхнули фонари по всему Каменноостровскому. Еще не совсѣмъ стемнѣло, и вдругъ вспыхиваютъ фонари. — Знаете, какъ это прекрасно...

— Ну?

Все. Больше ничего. Въ эту минуту — перевернулось во мнѣ что-то. Точно я совсѣмъ погибалъ и чудомъ спасся. Стою, шапку зачѣмъ-то снялъ. Старый дуракъ, думаю, на что ты убилъ пятьдесятъ лѣтъ жизни? Городовой ко мнѣ подбѣжалъ. — Ваше превосходительство, ваше превосходительство... — Посадилъ меня на извозчика. Съ тѣхъ поръ...

... Съ тѣхъ поръ на квартирѣ на Кирпичномъ все вверхъ дномъ. Въ 3 часа ночи Крученыхъ по телефону требуетъ денегъ. Въ гостиной ночуютъ бездомные футуристы.

Какъ я люблю беременныхъ мужчинъ,
Когда они у памятника Пушкина...

Несется утромъ изъ ванной раскатистый басъ Давида Бурлюка. Его братъ, Владимиръ, существо субтильное, требуетъ себѣ утренній завтракъ въ кровать: ему нездоровится, онъ полежитъ немного... И нарядная горничная несетъ ему на серебряномъ подносѣ «кофе» — графинъ водки и огурецъ...

Какъ я люблю беременныхъ мужчинъ...
Н. И., до зарѣзу нужно двадцать пять...
Искусство — укусъ-то...
Асоц-поэт-худ-фут-куб...

Еще водки — да похолоднѣй...

Среди этого сумбура К. чувствуетъ себя прекрасно. Пятьдесятъ лѣтъ «убито» на спокойную, размѣренную жизнь профессора. Кто знаетъ, много-ли осталось? Такъ, по крайней мѣрѣ, пусть каждая минута изъ этого остатка не пропадетъ...

— Старый дуракъ... Пятьдесятъ лѣтъ жизни...

Но ничего, ничего — наверстаемъ...

К., повторяя эти слова, посмѣивается какъ-то странно. Какъ-то странно подергиваетъ бородку, поблескиваетъ глазами изъ-подъ золотыхъ очковъ....

— Сколько можно было сдѣлать!.. Сколько пережить... Но ничего, ничего...

Странный смѣшокъ, странный взглядъ. Что-то томительное есть въ нихъ.

И собесѣдникъ въ генеральской тужуркѣ, съ подозрительной чуткостью, живо оборачивается:

— Вы думаете, я сумасшедшій?..

***

Изъ моего футуризма ничего не вышло. Вкусъ къ писанію лиловыхъ «шедевровъ» у меня быстро прошелъ. Я завелъ новыя литературныя знакомства, болѣе «подходящія» для меня, чѣмъ общество Крученыхъ и Бурлюковъ. Съ К. видался все рѣже, мелькомъ, случайно. И очень удивился, когда въ январѣ 1913 года получилъ на знакомой мнѣ буро-зеленой бумагѣ настойчивое приглашеніе пріѣхать вечеромъ.

Я поѣхалъ. Почему было-бы не поѣхать? Судя по запискѣ, у К. должно было состояться какое-то сборище — не то спектакль, не то закрытый докладъ. Я былъ, повидимому, единственнымъ приглашеннымъ изъ «правыхъ круговъ» — честь, оказанная въ знакъ «старой дружбы». Отклонить эту честь было-бы неразумно. Ужъ, если у К., да «приватное собраніе» — значитъ, будетъ на что поглядѣть... И еще эта интригующая приписка: «Приглашеніе предъявлять при входѣ».

Но изящный молодой человѣкъ, встрѣтившій меня въ прихожей — приглашенія не спросилъ. Онъ благовоспитаннѣйше пожалъ мнѣ руку, представляясь: Бенедиктъ Лившицъ. Имя было, по тѣмъ временамъ, громкое: конфискованная книга, рядъ скандаловъ на диспутахъ, драки, стрѣльба въ публику... Въ соединеніи съ такой репутаціей, забавны были его свѣтскія манеры и изящный فракъ. Еще разъ учтиво расшаркавшись, онъ пропустилъ меня въ залу.

... Большая комната была полна народу. Большинства я не зналъ. Какіе-то молодые люди съ геометрически-разрисованными лицами, какія-то взволнованныя дѣвицы... Взлохмаченная поэтическая копна и зализанный проборъ, синяя блуза и соболя... Смѣшанное общество.

На возвышенiи сидѣлъ К. Я не узналъ его сразу. Руки скрещены на груди, лицо странно блѣдное — густо напудренное. Одѣтъ — въ широкую кроваво-красную хламиду. На лбу — золотой обручъ.

... Военно-Медицинская Академiя... Николаевскiй госпиталь... Вытянувшiйся въ струнку ординаторъ: — Ваше превосходительство, честь имѣю...

... К. сидѣлъ на своемъ золоченомъ возвышенiи неподвижно, какъ идолъ. Передъ нимъ Крученыхъ, съ толстой восковой свѣчей въ рукахъ, бормоталъ что-то непонятное глухимъ истерическимъ шопотомъ. Потомъ, вдругъ, не опустился — грохнулся передъ К. на колѣни, взвизгнулъ, заголосилъ, закатился. Изъ перваго ряда бросились его поднимать. Но онъ сейчасъ-же вскочилъ съ лицомъ перекошеннымъ, восторженнымъ....

— Свершилось, свершилось, — визжалъ онъ уже совершенно, какъ кликуша. — Вотъ... онъ... прiялъ власть... владыка... футуристъ... царь революцiи... — И вся зала визжала, апплодировала, топала. Хлѣбниковъ бился въ припадкѣ. Фальцетъ Крученыхъ перекрикивалъ всѣхъ: — Прiялъ... владыка... царь...

К. сидѣлъ все такъ-же неподвижно, скрестивъ руки, наклоня слегка голову. По его лицу напудреннаго идола расплывалась тихая безсмысленная улыбка...

... Я разыскалъ свое пальто въ ворохѣ другихъ — собачьихъ воротниковъ футуристической братiи и чьихъ-то бобровъ, лежащихъ вперемежку. Перчатокъ не было — Богъ съ ними, перчатками. Поскорѣе-бы выбраться отсюда...

Солидная, обитая краснымъ сукномъ дверь мягко за мной захлопнулась. Солидная мѣдная доска мягко блеснула аккуратно выгравированными буквами: — Докторъ медицины... Прiемъ... Ухо, горло, носъ...

... Старый дуракъ, на что ты убилъ пятьдесятъ лѣтъ жизни?..

... Но ничего, ничего — наверстаемъ...

... Вы думаете — я сумасшедшiй?..

**
*

Я больше не бывалъ у К. послѣ этого вечера, да и онъ не приглашалъ меня. Должно быть, мнѣ не удалось скрыть при встрѣчѣ съ нимъ, послѣ его «коронаціи», неловкости, которую я испыталъ. Изрѣдка я продолжалъ встрѣчать его то здѣсь, то тамъ — такого-же, какъ всегда, — солиднаго, серьезнаго, поблескивающаго очками и погонами. Потомъ началась война... Потомъ, въ началѣ лѣта 1917 года, въ ясный, веселый, солнечный день, какой-то знакомый, встрѣтивъ меня на Невскомъ, сообщилъ:

— Знаете — К. умеръ.

— Отъ чего?

— Отъ страху.

— Какъ такъ?

— Такъ. Онъ шелъ по улицѣ. Навстрѣчу грузовикъ съ солдатами. Видятъ — генералъ. Схватили, повезли въ Думу. Тамъ его продержали полчаса и, конечно, выпустили съ извиненіями. Онъ пріѣхалъ домой и слегъ. Пролежалъ два дня и отдалъ Богу душу. И ничего у него не было — и сердце прекрасное. Испугался очень. Несчастный!..

III

Принято думать, что всероссійская слава Игоря Сѣверянина пошла со знаменитой обмолвки Толстого о ничтожествѣ русской поэзіи. Дѣйствительно, въ подтвержденіе своего мнѣнія Толстой процитировалъ Сѣверянинское: «Вонзите штопоръ въ упругость пробки, и взоры женщинъ не будутъ робки». Дѣйствительно, благодаря этому, имя будущаго (увы, недолговѣчнаго) кумира эстрадъ и редакцій промелькнуло на страницахъ газетъ (до сихъ поръ оно было лишь удѣломъ почтовыхъ ящиковъ: «къ сожалѣнію, не подошло»). Но настоящая слава пришла позже. И пришла она, въ сущности, вполнѣ «легально»: Игоремъ Сѣверянином заинтересовались Сологубъ, позднѣе Брюсовъ и «лансировали» его.

Была весна 1911 года. Мнѣ было семнадцать лѣтъ. Я напечаталъ въ двухъ-трехъ журналахъ нѣсколько стихотвореній, завелъ уже литературныя знакомства съ Кузминымъ, Городецкимъ, Блокомъ, былъ полонъ литературой и стихами.

Имени Сѣверянина я до тѣхъ поръ не слышалъ. Но, роясь однажды на «поэтическомъ» столикѣ у Вольфа, я раскрылъ брошюру страницъ въ шестнадцать (названія уже не помню), имѣвшую сложный подзаголовокъ: такая-то тетрадь, такого-то выпуска, такого-то тома. На задней сторонѣ обложки было перечислено содержаніе всѣхъ томовъ и тетрадей, приготовленныхъ къ печати — что-то очень много. А также объявлялось,

что Игорь Сѣверянинъ, Подъяческая, домъ такой-то, принимаетъ молодыхъ поэтовъ и поэтессъ — по четвергамъ, издателей по средамъ, поклонницъ по вторникамъ и т. д. Всѣ дни недѣли были распредѣлены и часы точно указаны, какъ въ лѣчебницѣ. Я прочелъ нѣсколько стихотворенiй. Они меня «пронзили». Ихъ безвкусiе, конечно, било въ глаза, даже такiе неискушенные, какъ мои (только мѣсяцъ назадъ мнѣ внушили, что Дм. Цензоромъ не слѣдуетъ восхищаться...). Но, повторяю — они пронзили. Чѣмъ, не знаю. Тѣмъ-же, вѣроятно, чѣмъ черезъ годъ и, кажется, такъ-же случайно, — Сологуба.

***

Меня соблазняло, однако, я не сразу рѣшился пойти на прiемъ на Подъяческую улицу. Какъ держаться, что сказать? Идти въ качествѣ молодого поэта? — въ этомъ было что-то унизительное. Поклонника? — тоже, если даже забыть о своей мужской природѣ, такъ какъ въ объявленiи значились только поклонницы. Я нашелъ выходъ: принявъ солидный видъ, я отправился къ Игорю Сѣверянину въ часы, назначенные для издателей. Въ сущности, я и собирался въ ближайшемъ будущемъ стать издателемъ... своей собственной книги (семьдесятъ пять рублей, выпрошенныя у старшей сестры, я хранилъ въ надежномъ мѣстѣ).

Еще одно обстоятельство смущало меня, пока я ѣхалъ съ Каменноостровскаго на Подъяческую. Несомнѣнно, человѣкъ, каждый день принимающiй посѣтителей разныхъ категорiй, стихи котораго полны омарами, автомобилями и французскими фразами, — человѣкъ блестящiй и великосвѣтскiй. Не растеряюсь-ли я, когда подъѣду на своемъ ванькѣ къ дворцу на Подъяческой, когда надменный слуга въ фiалковой ливреѣ проведетъ меня въ ослѣпительный кабинетъ, когда появится самъ Игорь Сѣверянинъ и заговоритъ со мной по-французски съ потрясающимъ выговоромъ?..

Но жребій былъ брошенъ, извозчикъ нанятъ, отступать было поздно. . . .

Игорь Сѣверянинъ жилъ въ квартирѣ № 13. Этотъ роковой номеръ былъ выбранъ помимо воли ея обитателя. Домовая администрація, по понятнымъ соображеніямъ, занумеровала такъ самую маленькую, самую сырую, самую грязную квартиру во всемъ домѣ. Ходъ былъ со двора, кошки летали по обмызганной лѣстницѣ. На приколотой кнопками къ входной двери визитной карточкѣ было воспроизведено автографомъ съ большимъ росчеркомъ надъ ѣ: Игорь Сѣверянинъ. Я позвонилъ. Мнѣ открыла маленькая старушка, съ руками въ мыльной пѣнѣ. «Вы къ Игорю Васильевичу? Обождите, я сейчасъ имъ скажу». Она ушла за занавѣску и стала шептаться. Я оглядѣлся. Это была не передняя, а кухня. На плитѣ кипѣло и чадило. Столъ былъ заваленъ немытой посудой. Что-то на меня капнуло: я сталъ подъ веревкой съ развѣшаннымъ для просушки бѣльемъ. . .

«Принцъ фіалокъ и сирени» встрѣтилъ меня, прикрывая ладонью шею: онъ былъ безъ воротничка. Въ маленькой комнатѣ съ полкой книгъ, съ жалкой мебелью, какой-то декадентской картинкой на стѣнѣ — былъ образцовый порядокъ. Хозяинъ былъ смущенъ, кажется, не менѣе меня. Привычки принимать посѣтителей у него еще не было.

Послѣ молчанія, довольно долгаго, онъ заговорилъ что-то о дачѣ и что въ городѣ жарко. Потомъ ужъ перешли на стихи. Сѣверянинъ предложилъ мнѣ прочесть. Потомъ сталъ читать свои. Манера читать у него была та-же, что и сами стихи, — и отвратительная, и милая. Онъ ихъ пѣлъ на какой-то опереточный мотивъ, все на одинъ и тотъ-же. Но къ его стихамъ это подходило. Голосъ у него былъ звучный, наружность, скорѣе, привлекательная: крупный ростъ, крупныя черты лица, темные вьющіеся волосы. Мы просидѣли довольно долго, никто намъ не мѣшалъ, «издателей» больше не приходило. Простились мы почти дружески. Вскорѣ мы, дѣйствительно, подружились.

Я сталъ частымъ гостемъ на Подъяческой. Совсѣмъ но-

вый для меня, бытъ литературной богемы меня привлекалъ и мнѣ льстилъ. Я помянулъ, что имѣлъ уже литературныя знакомства. Но ходить на чаи къ Кузмину или вести разъ въ мѣсяцъ почтительные разговоры съ Блокомъ было совсѣмъ не то, что ежедневно ѣздить по «Вѣнамъ», «Черепенниковымъ» и «Давидкамъ», участвовать въ поэзо-вечерахъ въ Лиговѣ или на Выборгской сторонѣ, съ краснымъ бантомъ вмѣсто галстука на шеѣ. Этотъ бантъ я завелъ по внушенію Игоря, и, не смѣя, конечно, надѣвать его дома, перевязывалъ на Подъяческой. Шумные поэзо-вечера и шумныя попойки чередовались съ «редакціонными» собраніями въ квартирѣ Сѣверянина. Поэтовъ вокругъ Игоря группировалось довольно много. Трое удостоились высокой чести быть «директоріатомъ» при немъ. Это были —я, Константинъ Олимповъ, сынъ Фофанова, явно сумасшедшій, но не совсѣмъ бездарный мальчикъ лѣтъ шестнадцати, и Грааль Арельскій, по паспорту Степанъ Степановичъ Петровъ, студентъ не первой молодости, вполнѣ уравновѣшенный и вполнѣ безталанный.

«Директоріатъ» рѣшилъ дѣйствовать, завоевывать славу и дѣлать литературную революцію. Сложившись по полтора рубля, мы выпустили манифестъ эго-футуризма. Написанъ онъ былъ простымъ и яснымъ языкомъ, причемъ тезисы слѣдовали по пунктамъ. Помню одинъ: «Призма стиля — реставрація спектра мысли...»

Кстати: этотъ манифестъ перепечатали очень многія газеты и, въ большинствѣ, его комментировали или спорили съ нимъ вполнѣ серьезно!



Однажды на Подъяческую, хотя, кажется, и не въ предназначенный для этого часъ, пришелъ настоящій издатель. Правда, онъ пока ничего не издавалъ, но прочтя нашъ манифестъ, рѣшилъ предоставить свой кошелекъ въ распоряженіе «реставраторовъ спектра мысли». Кошелекъ былъ не очень тугой: нерѣдко, для нуждъ издательства, золотые часы Ивана

Васильевича Игнатьева отправлялись въ ломбардъ. Но все-же къ нашимъ услугамъ теперь была еженедѣльная газета «Петербургскій Глашатай»; когда она прекратилась, за полной убыточностью, то альманахи подъ тѣмъ-же названіемъ. Стихи назывались поэзами, изданія — эдиціями, редакторъ — директоромъ. На лѣтній сезонъ къ услугамъ эго-футуристовъ была другая газета — увы! вульгарно называвшаяся — «Нижегородецъ». Она выходила въ Нижнемъ-Новгородѣ во время ярмарки и была полна цѣнами, балансами и статьями о сбытѣ рыбы въ Персію. Но какой-то дядюшка Игнатьева, ее издававшій, былъ не чуждъ возвышенному, и печаталъ безъ разбора все, что тотъ присылалъ. Мы всѣ этимъ широко пользовались. Я, помню, напечаталъ тамъ большую статью, доказывавшую, что Метерлинкъ пошлякъ и бездарность... Гонорара, понятно, намъ не платили.

Въ маленькомъ деревянномъ «собственномъ домѣ», на углу Дегтярной и восьмой Рождественской, въ редакціи «Петербургскаго Глашатая» происходили время отъ времени «поэзопраздники», о которыхъ, для «эпатированія», особыми извѣщеніями сообщалось редакціямъ разныхъ газетъ. Программы эти назывались «вержетками» (верже — сортъ бумаги) и были составлены крайне соблазнительно и пышно. Прилагалось и меню ужина, гдѣ фигурировали ананасы въ шампанскомъ, Кремъ де Віолеттъ и филе молодыхъ соловьевъ. Въ дѣйствительности, конечно, было попроще. Полбутылки Кремъ де Віолетт'а (фирмы Cusimier, продавался у Елисѣева) украшали столъ больше въ качествѣ символа поэзіи и изящества. Но водка и удѣльное вино подавалось въ такомъ количествѣ, что нерѣдко и гости и директоріатъ впадали въ совершенно невмѣняемое состояніе. Иногда случались вещи совсѣмъ дикія. Такъ, однажды, нѣкто Петръ Ларіоновъ, на сорокъ пятомъ году соблазненный футуризмомъ, занимавшій странную должность завѣдующаго царскосельскимъ птичникомъ, ушелъ отъ Игнатьева съ наполовину выбритой головой (онъ носилъ поэтическую шевелюру), съ лицомъ, раскрашеннымъ, какъ у индѣйца, и съ бубновымъ тузомъ на спинѣ.

Этотъ Игнатьевъ, на видъ нормальнѣйшій изъ людей, — кругло- и краснощекій, типичный купчикъ средней руки, очень страшно погибъ. На другой день послѣ своей свадьбы, вернувшись съ родственныхъ визитовъ, онъ среди бѣлаго дня набросился на жену съ бритвой. Ей удалось вырваться. Тогда онъ зарѣзался самъ.

***

Моя дружба съ Игоремъ Сѣверяномъ, и житейская, и литературная, продолжалась недолго. Я перешелъ въ Цехъ Поэтовъ, завязалъ связи болѣе «подходящія» и поэтому безконечно болѣе прочныя. Но лично съ Сѣверяниномъ мнѣ было жалко разставаться. Я даже пытался сблизить его съ Гумилевымъ и ввести въ Цехъ, что, конечно, было нелѣпостью. Мы разстались (двѣ-три позднѣйшія встрѣчи въ счетъ не идутъ), когда Сѣверянинъ былъ въ зенитѣ своей славы. Бюро газетныхъ вырѣзокъ присылало ему по пятьдесятъ вырѣзокъ въ день, сплошь и рядомъ цѣлые фельетоны, полные восторговъ или ярости (что, въ сущности, все равно для «техники славы»). Его книги имѣли небывалый для стиховъ тиражъ, громадный залъ Городской Думы не вмѣщалъ всѣхъ желающихъ попасть на его «поэзовечера». Неожиданно сбылись всѣ его мечты: тысячи поклонницъ, цвѣты, автомобили, шампанское, тріумфальныя поѣздки по Россіи. . . Это была самая настоящая, нѣсколько актерская, пожалуй, слава. Игорь Сѣверянинъ не сумѣлъ ее удержать, какъ не сумѣлъ удержать и того неподдѣльнаго очарованія, которое было (и осталось) въ его прежнихъ стихахъ. О теперешнихъ лучше не говорить.

IV

Классическое описаніе Петербурга почти всегда начинается съ тумана.

Туманъ бываетъ въ разныхъ городахъ, но петербургскій туманъ — особенный. Для насъ, конечно. Иностранецъ, выйдя на улицу, поежится: «бр... проклятый климатъ...»

Ежимся и мы. Но...

ни на что не промѣняемъ пышный,
Гранитный городъ славы и бѣды,
Широкіе, сіяющіе льды,
Торжественные черные сады...

И туманъ, туманъ — душу этихъ «льдовъ и садовъ»...

«Невы державное теченье, береговой ея гранитъ», — Петръ на скалѣ, Невскій, сами эти пушкинскіе ямбы, — все это внѣшность, платье. Туманъ-же — душа.

Тамъ, въ этомъ желтомъ сумракѣ, съ Акакія Акакіевича снимаютъ шинель, Раскольниковъ идетъ убивать старуху, Иннокентій Анненскій, въ бобрахъ и накрахмаленномъ пластронѣ, падаетъ съ тупой болью въ сердцѣ на грязныя ступени Царскосельскаго вокзала, прямо:

Въ желтый паръ петербургской зимы,
Въ желтый снѣгъ, облипающій плиты,

которыя онъ такъ «мучительно любилъ».

Впрочемъ, — все это общеизвѣстно.

**
*

На Невскомъ шумъ, экипажи, свѣтъ дуговыхъ фонарей, «фары» Вуазеновъ, «берегись» лихачей, «соболя на плечахъ и лицо подъ вуалью», военныя формы, сіяющія витрины. Блестящая европейская улица — если не рю Руайяль, то Унтеръ-денъ-Линденъ. И туманъ здѣсь «не тотъ» — европеизированный, нейтрализованный. Можетъ быть, «тотъ» настоящій петербургскій туманъ и не существуетъ больше?

Нѣтъ, онъ тутъ, рядомъ, въ двухъ шагахъ. Въ двухъ шагахъ отъ этого блеска и оживленія — пустая улица, тусклые фонари и туманъ.

Въ туманѣ бродятъ странные люди.

Поверните по Малой Конюшенной за уголъ. Два-три дома и вотъ:

> Въ сѣрый цвѣтъ окрашенныя стѣны,
> Вывѣска зеленая «Портной».

Вывѣска, впрочемъ, не зеленая. Приказомъ градоначальника, на главныхъ улицахъ столицы въ вывѣскахъ соблюдается «пристойное однообразіе». Должно быть, начитался Курбатова градоначальникъ.

Вывѣска портного — черная, съ золотыми буквами. Она импозантна не по чину — портной маленькій. Чтобы не отпугивать кліентовъ, на стеклянной двери — записка, смягчающая торжественный холодъ вывѣски: «Передѣлка, перелицовка, утюжка по дешевой цѣнѣ». А рядомъ съ запиской подсунута желтоватая визитная карточка:

Николай Карловичъ Ц., свободный художникъ, не окончившій С.-Петербургской консерваторіи.

— Николай Карловичъ дома?

И, не подымая лохматой головы отъ чего-то бураго и за-

масленнаго, перелицовываемаго или передѣлываемаго, — портной хмуро отвѣчаетъ:

— Спитъ.

Спитъ — значитъ, дома. Что-же можно дѣлать дома, какъ не спать, послѣ вчерашняго похмѣлья, набираясь силъ для сегодняшняго.

Въ большой комнатѣ полутемно, шторы опущены. Въ сумракѣ виденъ рояль, люстра въ чехлѣ, столъ съ грудой бумагъ. Въ углу, на кровати, кто-то похрапываетъ...

— Николай Карловичъ!

Дремлющій грузно переворачивается, заставляя трещать всѣ пружины матраца.

— Чего надо? Къ чорту! Который часъ?

— Поздно. (Дѣйствительно не рано — пятый часъ дня). Вставайте.

Всклокоченная голова тяжело приподымается съ подушки. Руки выпрастываются изъ-подъ шубы. Голосъ хриплый, но пріятный и барственный, слегка грассируя, говоритъ:

— Будьте добры, «монъ шевалье», если это васъ не затруднитъ, зажечь электричество, чтобы я могъ видѣть ваши благородныя черты.

При свѣтѣ впечатлѣніе отъ комнаты мѣняется.

Съ сумракѣ она выглядѣла приличной, даже внушительной. Высокій потолокъ, раскрытый рояль, «слѣды труда и вдохновенья»... Но при свѣтѣ...

Полъ въ окуркахъ, спичкахъ, бумажкахъ. Груды старыхъ газетъ, пустыхъ бутылокъ, коробокъ отъ консервовъ.

На рояли прикапанъ, прямо къ доскѣ, огарокъ восковой трехкопѣечной свѣчки. Другой, догорѣвъ, расплылся затѣйливымъ сталактитомъ на выложенной перламутромъ надписи: «Бехштейнъ». На стѣнахъ, съ подтеками сырости, углемъ нарисованы рожи: Адамъ и Ева, срывающіе плодъ (крайне натурально), коты съ задранными хвостами, черти. Кровать — хаосъ пестраго тряпья. На ночномъ столикѣ — бутылка, съ водкой на донышкѣ.

Хозяинъ, свободный художникъ, «не окончившій консер-

ваторіи», — толстый, опухшій, давно небритый. Выраженіе лица — смѣсь тошноты послѣ перепоя и ироніи. Но въ манерѣ протягивать руку, надѣвать плохо слушающимися пальцами пенснэ, закуривать длинную папиросу — какая-то респектабельность.

— Очень мило, дорогой маркизъ, что вы навѣстили стараго пьяницу. Прошу садиться... Хочешь, братъ, водки?..

***

Если въ Петербургѣ особенный туманъ, то самый, особенный» онъ вечерами на Васильевскомъ островѣ.

На пересѣченіи проспектовъ Большого, Малаго и Средняго — пивныя. На Василеостровскихъ «линіяхъ» туманъ, мгла, тишина. Но съ перекрестковъ бьютъ снопы электричества, пьянаго говора, «Китаяночка» изъ хриплаго рупора:

Послѣ чая, отдыхая,
Гдѣ Амуръ рѣка течетъ,
Я увидѣлъ Китаянку...

Нѣкоторыя пивныя замѣчательныя.

Устроили ихъ нѣмцы въ 80-хъ годахъ съ разсчетомъ на солидныхъ и спокойныхъ кліентовъ — нѣмцевъ-же. Солидные мраморные столики, увѣсистыя пивныя кружки, фаянсовыя подставки подъ нихъ съ надписями, вродѣ:

— Morgenstunde hat Gold im Munde.

На стѣнахъ кафелями выложены сцены изъ Фауста, въ стеклянной горкѣ — посуда для торжественныхъ случаевъ. Она давно подъ замкомъ, — старыхъ, хорошихъ кліентовъ давно нѣтъ, солидная нѣмецкая рѣчь давно не слышна. Теперь въ этихъ «Эдельвейсахъ» и «Рейнахъ» — собираются по вечерамъ отребья петербургской богемы.

... Визжитъ и хрипитъ разудалая Китаянка. Зеркальныя, исцарапанныя надписями, стѣны сіяютъ немытымъ блескомъ, жирная бѣлая пѣна ползетъ по толстому стеклу.

— Человѣкъ! Еще парочку. Тепленькаго!

Отъ теплаго пива скорѣе «развозитъ». Холодное пьютъ одни «пижоны».

... Китаянка, китаянка,
Китаяночка моя....

Къ десяти вечера — Эдельвейсъ полонъ. «Торгуютъ» оффиціально до двѣнадцати — засиживаются гости до часу. Потомъ «Доминикъ» на Невскомъ, — открытый до трехъ ночи... А въ четыре утра, на Сѣнной, начинаютъ открываться извозчичьи чайныя — яичница изъ обрѣзковъ и спиртъ въ битомъ чайникѣ на коричневой отъ грязи скатерти. Это называется пить «съ пересадками»...

... Китаянка... Китаянка...

Почти всѣ столики полны. Въ углу — три стола сдвинуты рядомъ подъ пыльной, искусственной пальмой. Этотъ уголъ — поэтически-литературный-музыкальный. Тамъ предсѣдательствуетъ Ц. И идутъ безконечные разговоры.

Вотъ Ш., поэтъ, вѣчный студентъ — длинный, черный, какой-то обожженный, въ долгополомъ выгорѣвшемъ сюртукѣ. Необыкновенно ученый, полусумасшедшій. Для него «путешествіе съ пересадками» начинается съ утра — вмѣсто кофе, стаканъ водки и двѣ кильки. Онъ уже совсѣмъ пьянъ — и замогильнымъ голосомъ толкуетъ что-то о Ницше. Г., тоже поэтъ и тоже пьяный, захлебываясь, его перебиваетъ:

— Романтизмъ, романтизмъ... Новалиссъ... Голубой цвѣтокъ.

Еще какіе-то люди. Тоже поэты или музыканты, или философы, — кто ихъ знаетъ. Шумнѣй всѣхъ М., — актеръ, неспившійся и даже не пьяный, — притворяется только. Зачѣмъ онъ притворяется? Всѣмъ извѣстно, что отъ Доминика онъ уже улизнетъ — домой, спать. Вѣдь, завтра — репетиція — Боже сохрани — пропустить. И пить-то онъ не любитъ, и денегъ жаль — а приходится не только за себя, и за другихъ платить. Зачѣмъ-же онъ это дѣлаетъ?

Изъ чести. Странная, казалось-бы, честь. А вотъ, подите-же...

М. шумно чокается, нарочно проливая, шумно предлагаетъ безтолковый тостъ. Онъ жестикулируетъ, бьетъ себя въ грудь, плачетъ... — Выпьемъ за искусство... Построимъ лучезарный дворецъ... Эхъ, молодость, гдѣ ты...

Пьяницы-непритворные чокаются и пьютъ. Они знаютъ, что М. притворяется, что никакихъ «разбитыхъ надеждъ» заливать ему нечего, что онъ просто балагуръ, пошлякъ. Но имъ безразлично, — съ кѣмъ пить, чью болтовню слушать. Все давно безразлично. Все на свѣтѣ чушь, вздоръ, галиматья. — Человѣкъ! Еще парочку!..

... Китаянка — китаянка... Романтизмъ... голубыя дали... Такъ говорилъ Заратустра...

Голосъ Ц., — хриплый и барственный, — вдругъ покрываетъ все это:

— Если есть безсмертіе души... Да... А оно есть... И Богъ спроситъ меня... Тамъ... Что ты, Николай, сдѣлалъ... Сыграй!.. я ему сыграю... Да... Я ему сыграю... Чижика.

Страшный ударъ кулакомъ по столу.

— И буду... правъ, а?..

— Правъ... правъ... — кричатъ пьяные голоса. — Здорово, Ц.... Такъ и надо. Чижика ему... Выпьемъ...

М. въ восторгѣ лѣзетъ цѣловаться.



Сталкиваясь съ разными кругами «богемы», дѣлаешь странное открытіе:

Талантливыхъ и тонкихъ людей — встрѣчаешь больше всего среди ея подонковъ.

Въ чемъ тутъ дѣло? Можетъ быть, въ томъ, что самой природѣ искусства противна умѣренность. «Либо панъ, либо пропалъ». Пропадаютъ неизмѣримо чаще. Но между верхами и подонками — есть кровная связь. «Пропалъ». Но могъ стать паномъ и, можетъ быть, почище другихъ. Не повезло, что-то

помѣшало — голова «слабая», и воли нѣтъ. И произошло обратное «Пану» — «пропалъ». Но шансъ былъ. А среднiй, «чистенькiй», «уважаемый», никакъ, никогда не имѣлъ шанса — природа его совсѣмъ другая.

Въ этомъ сознанiи связи съ мiромъ высшимъ, черезъ голову мiра почтеннаго, — гордость подонковъ. Жалкая, конечно, гордость.

Ц. началъ блестяще.

. . . вотъ былъ въ консерваторiи мальчикъ Ц. Какой былъ Божiй даръ, — вспоминалъ старичекъ-генералъ Кюи. — Если-бы остался живъ — понятiе о музыкѣ перевернулъ-бы. Какой даръ, какой размахъ!

— Да Ц. не умеръ. Недавно еще какой-то его романсъ у Юргенсона. Очень талантливый, конечно, хотя. . .

Кюи качалъ головой.. — Романсъ? Талантливъ? Нѣтъ, не тотъ Ц., не можетъ быть тотъ. Тотъ, если-бы жилъ — показалъ-бы. . .

Такъ какъ Ц. не умеръ и не «перевернулъ понятiя о музыкѣ», — ему оставалось единственное — спиться.

. . . Комната у портного на Конюшенной. Два оплывающiе огарка. Высокiй потолокъ расплывается въ сумракѣ. Рояль раскрытъ.

Облѣзлыхъ стѣнъ, пятенъ сырости, окурковъ и пустыхъ бутылокъ — не видно. Комната кажется пустой и торжественной. Пламя огарковъ колеблется.

Въ этомъ колеблющемся свѣтѣ не видно и то, что такъ бросается въ глаза въ «мертвомъ, безпощадномъ свѣтѣ дня» въ лицѣ Ц.: опухлость безсонныхъ ночей, давно небритыя щеки, ѣдкая, безнадежная «усмѣшечка» идущаго на дно человѣка. Оно помолодѣло, это лицо, и измѣнилось. Глаза смотрятъ зорко и пристально въ растрепанную нотную рукопись. . .

Ц. беретъ два-три аккорда, потомъ смахиваетъ ноты съ пюпитра.

— Къ черту! Я буду играть такъ.

«Такъ» — значитъ импровизировать. Разныя бываютъ импровизацiи, но то, что дѣлаетъ Ц., — ни на что не похоже.

Сначала — «полосканье зубовъ» — какъ онъ самъ называетъ свою прелюдію. Нѣчто вродѣ гаммъ, разыгрываемыхъ усердной ученицей, только что-то неладное въ этихъ гаммахъ, какая-то червоточина. Понемногу, незамѣтно, отдѣльные тона сливаются въ невнятный, ровный, однообразный шумъ. Минута, три, пять, — шумъ наростаетъ, тяжелѣетъ, превращается въ грохотъ. — Вотъ такъ импровизація! — Какой-то стукъ тысячи деревянныхъ ложекъ по барабану. Какая-же это музыка? . . .

Тс. . . Не прерывайте, и вслушивайтесь. Слышите? Еще нѣтъ? А. . . слышите теперь?

. . . Среди тысячи деревянныхъ ложекъ — есть одна серебряная. И ударяетъ она по тонкому звенящему стеклу. . .

Слышите?

Ее едва слышно, она, скорѣе, чувствуется, чѣмъ слышна. Но она есть, и ея тонкій, легкій звонъ проникаетъ, осмысливаетъ, перерождаетъ — этотъ деревянный гулъ. И гулъ уже не деревянный — онъ глохнетъ, отступаетъ, слабѣетъ. . .

Не отрывая пальцевъ отъ клавишъ, Ц. оборачивается къ слушателямъ. Его лицо раскраснѣлось, глаза шалые. Онъ перекрикиваетъ музыку:

— Людоѣды отступаютъ, щелкая зубами. Имъ не удалось сожрать прекраснаго англичанина!

Не обращайте вниманія на это дикое «поясненіе». Слушайте, слушайте. . .

. . . Шумъ исчезъ. Чистая, удивительная, ни на что непохожая мелодія — торжествуетъ побѣду. Лучше закрыть глаза. Закрыть глаза и слушать это торжество звуковъ. Нѣтъ больше ни Конюшенной, ни оплывающихъ окурковъ, ни залитаго пивомъ рояля. Наступила минута, когда:

Все исчезаетъ, — остается
Пространство, звѣзды и пѣвецъ.

Слушайте! Сейчасъ все оборвется, крышка рояля хлопнетъ, и хриплый голосъ пробаситъ:

— Ну, довольно ерунды!

— Какую прелесть вы играли, Н. К. Почему вы не запишете этого?

— Записать? — Дѣланно-глуповатая усмѣшка. — Записать? Пробовалъ-съ. И неоднократно. Не поддается записи...

Да къ чему. И такъ слышно. «Имѣющіе уши да слышатъ», — затягиваетъ Ц., какъ дьяконъ. Потомъ жеманно раскланивается:

— Позвольте узнать, виконтъ, что вамъ пріятнѣе — сидѣть въ конурѣ стараго пьяницы или отправиться въ небезызвѣстный этаблисманъ Эдельвейсъ?

Однажды, уже въ началѣ войны, я зашелъ подъ вечеръ, мимоходомъ къ Ц. — и удивился:

Гладко причесанный, чисто выбритый, — онъ старательно завязывалъ «художественный» бантъ на бѣлоснѣжной рубашкѣ. Визитка... разутюженные брюки... Запахъ одеколона... Что за чудеса?

Ц. улыбнулся,

— Поражены блескомъ моего туалета, синьоръ? Думаете, что съ старымъ пьяницей? Сошелъ съ ума? Получилъ наслѣдство? Идетъ свататься?

— Въ самомъ дѣлѣ, Н. К., куда вы такъ наряжаетесь?

Ц. щелкнулъ языкомъ: — «Много будете знать»... Впрочемъ, если угодно, возьму васъ съ собою. Обѣщаю — прелюбопытное зрѣлище... и недурной ужинъ. Ѣдемте, въ самомъ дѣлѣ, — не пожалѣете.

— Куда?

Онъ сдѣлалъ важную мину.

— Въ Санктпетербургское сообщество внѣслуховой музыки. Да-съ — внѣслуховой. Не слыхали такого термина? И понятно. Открытіе сіе покуда держится втайнѣ...

Онъ перемѣнилъ выспренній тонъ на свой обычный, — идемъ, не пожалѣете. И шампанское обязательно будетъ. Да что объяснять — увидите сами.

Дѣлать мнѣ было въ тотъ вечеръ — нечего. Я поѣхалъ.

... Мы вошли въ темноватый подъѣздъ какого-то особня-

ка. Швейцаръ, молча, низко поклонившись, снялъ съ насъ шубы. Такъ-же молча, лакей повелъ насъ черезъ какія-то, пустовато и дорого обставленныя, комнаты. Мнѣ стало неловко — являюсь въ чужой домъ, никѣмъ не званный, да еще въ сѣромъ костюмѣ...

— Чушь, — сказалъ на это Ц. — Здѣсь на пиджаки не смотрятъ. Здѣсь, забирай выше, смотрятъ на духовную сущность человѣка. Да, вотъ мы здѣсь какіе... Конечно, смотрятъ въ книгу, видятъ фигу — это ужъ «общечеловѣческое», — но поползновенія-то благія...

... Въ большой, неярко освѣщенной гостиной было человѣкъ двадцать. Нѣсколько дамъ въ черныхъ платьяхъ, нѣсколько накрахмаленныхъ пластроновъ. Остальные попроще, но тоже приличнаго и культурнаго вида.

Ц. встрѣтили тихими апплодисментами. Онъ важно раскланялся, пожалъ кое-кому руки, все это безмолвно, какъ въ кинематографѣ. — Глухонѣмые, — шепнулъ онъ мнѣ. — Всѣ глухонѣмые. Не говорите громко, это ихъ раздражаетъ, когда они приготовились слушать. Не звукъ голоса, конечно, а жесты, движенія губъ. Народъ нервный. Сядьте вонъ тамъ. Сейчасъ начнется.

... Лакей щелкнулъ выключателемъ. Лампы погасли. На эстрадѣ вспыхнулъ блѣдно-сѣрымъ свѣтомъ дискъ въ полъ аршина діаметромъ. Этотъ блѣдный свѣтъ едва освѣщалъ высокій инструментъ, вродѣ піанино, и грузную фигуру Ц. за нимъ. Все остальное было погружено въ темноту. Стояла полная тишина.

И вотъ, Ц. ударилъ по клавишамъ изъ всей силы. Вмѣсто грома музыки — послышался только глухой стукъ. Но дискъ вспыхнулъ — ярко-оранжевымъ, потомъ синимъ, потомъ со стремительной быстротой въ немъ пронеслись всѣ оттѣнки краснаго — отъ блѣдно-розоваго, до пунцоваго...

Такъ вотъ она, внѣслуховая музыка!

Нѣмыя клавиши сухо трещали подъ сильными ударами пальцевъ Ц. Оранжевый, синій, красный, зеленый — пронеслись по диску въ дикой какофоніи красокъ.

И вдругъ... въ залѣ послышалось какое-то сопѣніе, шорохъ, гулъ. — Глухонѣмые слушатели начали подпѣвать.

Сначала робко, тихо, потомъ все сильнѣй. Нестройный шумъ, похожій на ворчаніе, все возрасталъ, дѣлаясь все болѣе нестройнымъ. Уже не ворчанье — лай, блеяніе, крикъ, вой, хрипѣнье — наполняло комнату...

Дискъ мелькалъ и мелькалъ. Когда онъ спыхивалъ особенно ярко — видны были слушатели. На всѣхъ лицахъ выраженіе не то блаженства, не то ужаса. Одни орали — выдѣлывая ртомъ странныя движенія, нѣкоторые, опрокинувшись, обхватывали голову руками, другіе раскачивались всѣмъ тѣломъ, третьи размахивали руками, точно дирижируя...

... Глухонѣмой швейцаръ, получивъ отъ меня двугривенный, страшно замычалъ въ благодарность. Пока я одѣвался — Ц. догналъ меня въ прихожей.

— Уходите? Испугались? Что за глупости?!. Я проиграю имъ еще двѣ-три вещицы, и потомъ будемъ ужинать, всей семейкой. Кормятъ здѣсь великолѣпно. Оставайтесь, право. Если невмоготу слушать — посидите гдѣ-нибудь въ другой комнатѣ...

Я сослался на головную боль — и, дѣйствительно, голова начинала болѣть. Ц. пожалъ плечами — ну, до свиданья. А то бы остались — и коньякъ тутъ первоклассный... Такъ ужъ не понравилась музычка? А знаете, кстати, что я имъ игралъ и что они подпѣвали? — Вѣдь, они передъ концертомъ готовятся, разучиваютъ по нотамъ Девятую симфонію...

V

На визитныхъ карточкахъ стояло: Борисъ Константиновичъ Пронинъ — докторъ эстетики, Honoris Causa. Впрочемъ, если прислуга передавала вамъ карточку — вы не успѣвали прочитать этотъ громкій титулъ. «Докторъ эстетики», веселый и сіяющій, уже заключалъ васъ въ объятія. Объятье и нѣсколько сочныхъ поцѣлуевъ, куда попало, были для Пронина естественной формой привѣтствія, такой-же, какъ рукопожатіе для человѣка менѣе восторженнаго.

Облобызавъ хозяина, бросивъ шапку на столъ, перчатки въ уголъ, кашнэ на книжную полку, онъ начиналъ излагать какой-нибудь очередной планъ, для исполненія котораго отъ васъ требовались или деньги, или хлопоты, или участіе. Безъ плановъ Пронинъ не являлся и не потому, что не хотѣлъ-бы навѣстить пріятеля, — человѣкъ онъ былъ до крайности общительный, — а просто времени не хватало. Всегда у него было какое-нибудь дѣло и, понятно, неотложное. Дѣло и занимало все его время и мысли. Когда оно переставало Пронина занимать, — механически появлялось новое. Гдѣ-же тутъ до дружескихъ визитовъ?

Пронинъ всѣмъ говорилъ «ты». — Здравствуй, — обнималъ онъ кого-нибудь попавшегося ему у входа въ «Бродячую Собаку». — Что тебя не видно! Какъ живешь! Иди скорѣй, наши (широкій жестъ въ пространство) всѣ тамъ...

Ошеломленный или польщенный посѣтитель — адвокатъ или инженеръ, впервые попавшій въ «Петербургское Художественное Общество», какъ «Бродячая Собака» оффиціально называлась, безпокойно озирается, — онъ незнакомъ, его приняли, должно быть, за кого-то другого? Но Пронинъ уже далеко.

Спросите его. — Съ кѣмъ это ты сейчасъ здоровался?

— Съ кѣмъ? — широкая улыбка. — Чертъ его знаетъ. Какой-то хамъ!

Такой отвѣтъ былъ наиболѣе вѣроятнымъ. «Хамъ», впрочемъ, не значило ничего обиднаго въ устахъ «доктора эстетики». И обнималъ онъ перваго попавшагося не изъ какихъ-нибудь разсчетовъ, а такъ, отъ избытка чувствъ.

Явившись съ проектомъ, Пронинъ засыпалъ собесѣдника словами. Попытка возразить ему, перебить, задать вопросъ, — была безнадежна. — Понимаешь... знаешь... клянусь... геніально. . . невѣроятно. . . три дня. . . Мейерхольдъ. . . градоначальникъ. . . Ида Рубинштейнъ. . . Верхарнъ. . . смѣта. . . Судейкинъ. . . геніально. . . — какъ горохъ, летѣли изъ его неперестававшаго улыбаться рта. Рѣдко кто не былъ оглушенъ и рѣдко кто отказывалъ, особенно въ первый разъ.

«Геніальное» дѣло, конечно, не выходило. Изъ-за «пустяка», понятно. Пронинъ не унывалъ. Теперь все предусмотрѣно. Геніально. . . невѣроятно. . . изумительно. . . Рихардъ Штраусъ...

Умудренный опытомъ, обольщаемый жмется.

— Да вѣдь и въ прошлый разъ по вашимъ словамъ выходило, что все устроится.

«Ахъ, Боже мой, что за человѣкъ», выражаетъ лицо Пронина, «не хочетъ понять простой вещи. — Да, вѣдь, тогда провалились, потому что онъ сталъ интриговать. Теперь онъ нашъ. Теперь все пойдетъ изумительно, вотъ увидишь». . .

И кто-то снова, вздыхая, выписываетъ чекъ или ѣдетъ хлопотать въ министерство, или пишетъ пьесу, по мѣрѣ силъ участвуя въ работѣ этой, работающей впустую, машины, которая зовется дѣятельностью Бориса Пронина.

**
*

Машина, впрочемъ, работала не совсѣмъ впустую, какія-то крупинки эта мельница, разсчитанная, казалось-бы, на сотни пудовъ, все-таки молола. «Что-то», въ концѣ концовъ, получалось или «наворачивалось», какъ Пронинъ выражался.

Такъ, навернулись по очереди — «Домъ Интермедіи», потомъ «Бродячая Собака», наконецъ, «Привалъ Комедіантовъ». Не такъ мало, въ сущности, — если не знать, сколько энергіи, и своей и чужой, на нихъ убито.

Пронинъ хлопоталъ надъ устройствомъ «Привала Комедіантовъ». «Машина» работала во-всю. Рабочіе требовали денегъ, а денегъ не было; какое-то военное учрежденіе прислало солдатъ для очистки помѣщенія, на которое, оказывается, оно имѣло права; вода бѣжала со всѣхъ стѣнъ (это еще ничего) и изъ только-что устроенныхъ каминовъ, что было хуже, т. к. безъ каминовъ, какъ-же было сушить стѣны?

Воду откачивали насосами. Вмѣсто подмокшихъ полѣньевъ накладывались новыя, вода изъ Мойки, на углу которой «Привалъ» помѣщался, ихъ вновь заливала. Пронинъ, растрепанный, безъ пиджака, несмотря на холодъ, (въ волненіи, онъ всегда снималъ пиджакъ, гдѣ-бы ни находился), въ батистовой бѣлоснѣжной рубашкѣ, но съ галстукомъ на боку и перемазанный сажей и краской, распоряжался, кричалъ, звонилъ въ телефонъ, выпроваживалъ солдатъ, давалъ руку на отсѣченіе каменьщикамъ, что завтра (это завтра тянулось уже мѣсяцевъ шесть) они получатъ деньги, самъ хватался за насосъ, самъ подливалъ керосину въ нежелающія горѣть дрова...

Зашедшихъ его навѣстить, онъ встрѣчалъ съ энтузіазмомъ и велъ показывать свои владѣнія.

«Это», — Пронинъ кивалъ на грязную комнату, со стѣнами въ бурыхъ подтекахъ и кашей изъ известки и грязи вмѣсто пола, — «Венеціанскій залъ». Его устроитъ мэтръ Судей-

кинъ. Черный съ золотомъ. Тамъ будетъ эстрада. Никакихъ хамскихъ стульевъ — бархатныя скамьи безъ спинокъ. . .

— Такъ, вѣдь, будетъ неудобно?

— Удивительно неудобно! Скамейка-то низкая и покатая, венеціанская... Но ничего, свои будутъ сидѣть сзади, на стульяхъ. А это спеціально для буржуевъ — десятирублевыя мѣста. . .

А здѣсь — монмартрское бистро. Распишетъ все Борисъ Григорьевъ — изумительно распишетъ. Вотъ — смотри, газъ уже проведенъ, будетъ совсѣмъ какъ въ Парижѣ».

На стѣнѣ уныло торчитъ газовый «бекъ». По всѣмъ потолкамъ видны слѣды работы электропроводчиковъ, и этотъ рожокъ единственный во всемъ помѣщеніи. «Спеціально проводили», горделиво щелкаетъ по нему Пронинъ. — Въ семьсотъ рублей обошелся, спеціальную трубу пришлось прокладывать. Зато — шикъ, — совсѣмъ какъ въ Парижѣ. Буржуи будутъ закуривать и ахать».

— А здѣсь что?

Пронинъ еще самъ не рѣшилъ, что будетъ здѣсь, между бистро и Венеціей. Но не хочетъ показать этого. «Здѣсь. . . — такъ, уголокъ, бросимъ какую-нибудь ткань, коверъ, широкій диванъ. . »

— Эта комната напоминаетъ купальню.

Купальню? — Пронинъ прищуривается. — «Купальню? Геніально! Изумительно! Именно, здѣсь будетъ восточная купальня. Завтра велю ломать бассейнъ. Напустимъ воды (ея то хватитъ!). Разноцвѣтныя стѣны, стекла. . . въ бассейнѣ плаваетъ лебедь. . . свѣтъ сверху. . . »

Ну, свѣтъ сверху мудрено устроить. . .

Ничуть — проломимъ потолокъ.

Это шесть этажей проломаете?

Что же такого? Сниму всѣ квартиры и проломаю. . . Впрочемъ, кажется, я того — фантазирую. . .

— Борисъ Константиновичъ, — вбѣгаетъ мальчишка-обойщикъ, съ озабоченно-восторженнымъ лицомъ. — Вода!

— А, чортъ! — И съ такимъ-же озабоченно-восторженнымъ видомъ, какъ у своего подручнаго, Пронинъ бѣжитъ въ «Венеціанскій Залъ», откуда слышно глухое плесканье заливающей полъ воды...

***

Врядъ ли самому Пронину пришла-бы мысль бросить насиженное мѣсто въ подвалѣ на Михайловской площади и заняться «динамитно-подрывной» работой на углу Мойки и Марсова Поля. «Собака» была частью его души, если не всей душой. Дѣла шли хорошо, т. е. домовладѣлецъ — мягкій человѣкъ — покорно ждалъ полагающейся ему платы, пользуясь, покуда, въ видѣ процентовъ, правомъ безплатнаго входа въ свой же подвалъ и почетнымъ званіемъ «друга Бродячей Собаки». Рестораторъ, итальянецъ Франческо Танни, тоже терпѣливо отпускалъ на книжку свое кислое вино и непервосортный коньякъ, утѣшаясь тѣмъ, что его ресторанчикъ, до тѣхъ поръ полупустой, сталъ штабъ-квартирой всей петербургской богемы. Большинство новыхъ посѣтителей, впрочемъ, тоже платили лишь въ исключительныхъ случаяхъ — больше обѣдали въ кредитъ.

У этого Франчески Танни часто устраивались и импровизированные пиры. Такъ, однажды, Пронинъ, вставъ утромъ, рѣшилъ, что сегодня его имянины. Ихъ надо отпраздновать. Но поздно ужъ звонить въ телефонъ или разсылать записки. Пронинъ сдѣлалъ такъ: онъ сталъ прогуливаться по солнечной сторонѣ Невскаго — и приглашать всѣхъ знакомыхъ, которые ему попадались. Знакомыхъ у Пронина было достаточно. Въ назначенный часъ, въ маленькомъ и тѣсномъ помѣщеніи «Франчески» набилось человѣкъ шестьдесятъ, желавшихъ чествовать «дорогого имянинника». Сдвинули столы; пошли въ дѣло и кисловатое «каберне», и мутноватое шабли, и не особенно тонкій, но чрезвычайно крѣпкій коньякъ таинственной французской фирмы «Прима». Ну, и кьянти, конечно. Пилъ «имянинникъ», пили его «друзья», пилъ хозяинъ, респектабельный сѣ-

дой итальянецъ, похожій на знаменитаго скрипача. Наконецъ, «все съѣдено, все выпито», ресторанъ пора закрывать. Пронину подаютъ счетъ. Неслушающимися пальцами Пронинъ его разворачиваетъ.

— Это... это что такое?

— Счетъ-съ, Борисъ Константиновичъ.

— А это?.. — Палецъ, помотавшись нѣкоторое время въ воздухѣ, какъ птица, выбираетъ мѣсто, чтобы сѣсть, — тычетъ въ сумму счета.

— Двѣсти рублей-съ...

Отблескъ удивленія и ужаса мелькаетъ на блаженномъ лицѣ «имянинника». Онъ минуту молчитъ, потомъ патетически восклицаетъ:

— Хамы! Кто-же будетъ платить!..

....

Нѣтъ, самъ Пронинъ врядъ-ли бы по своему почину разстался съ Михайловской площадью. Идею перемѣнить скромныя комнаты «Собаки», съ соломенными табуретками и люстрой изъ обруча, на Венеціанскія залы и средневѣковыя часовни «Привала» внушила ему Вѣра Александровна.

Портретъ «Вѣры Александровны», «Вѣрочки» изъ «Привала» долженъ былъ-бы нарисовать Сомовъ, никто другой.

Сомовъ — какъ-бы холодно ни улыбнулись, читая это, строгіе блюстители художественныхъ модъ, — Сомовъ удивительнѣйшій портретистъ своей эпохи: жалкаго и упоительнаго заката «Императорскаго Петербурга».

Я такъ представляю это ненарисованное полотно: черные волосы, полчаса назадъ тщательно завитые у Делькроа, — уже слегка растрепаны. Сильно декольтированный лифъ сползаетъ съ одного плеча, — только что не видна грудь. Лифъ черный, глубокимъ мысомъ врѣзающійся въ пунцовый бархатъ юбки. Пухлыя руки, странно-бѣлыя, точно набѣленныя, безпомощно и неловко прижаты къ груди, со стороны сердца. Во всей позѣ тоже какая-то безпомощность, какая-то растерянная

пышность. И старомодное что-то: складки парижскаго платья ложатся какъ кринолинъ, крупная завивка напоминаетъ парикъ.

Прищуренные сѣрые глаза, маленькій улыбающійся ротъ. И въ улыбкѣ этой какое-то коварство. . .

***

Незадолго до войны, въ Петербургъ пріѣхалъ Верхарнъ. Какъ водится — его чествовали и, тоже, какъ водится, чествованіе вышло безтолковое, и даже какъ-бы обидное для знаменитаго гостя. То есть, намѣренія были самыя лучшія у чествующихъ, и хлопотали они усердно. . . Но какъ-то ужъ все само собой обернулось не такъ, какъ слѣдовало бы. Едва банкетъ начался, — всѣ это почувствовали, — и устроители, и приглашенные, и, кажется, самъ Верхарнъ. Нѣсколько патетическихъ рѣчей, обращенныхъ къ «дорогому учителю», подъ стукъ ножей, и гавканье, ни съ того, ни съ сего «ура» — съ дальняго конца стола, гдѣ успѣла напиться малая литературная братія. «Сервисъ» «Малаго Ярославца» съ запарившимися лакеями въ нитяныхъ перчаткахъ, черезчуръ большое количество бутылокъ не особенно важнаго вина. . . Словомъ, лучше-бы его не было — этого банкета.

Почти всѣхъ присутствующихъ я, понятно, зналъ, въ лицо по крайней мѣрѣ. И меня удивило, что рядомъ съ Верхарномъ сидитъ какая-то дама, совершенно мнѣ незнакомая. Она была вычурно и пышно одѣта, брилліанты сіяли въ ушахъ, сѣрые глаза щурились, маленькія губы улыбались. . .

Кто это? Я спросилъ своего сосѣда, тотъ не зналъ. Еще кого-то — то-же. Верхарнъ очень оживленно и любезно, по стариковски морща носъ, разговаривалъ съ этой незнакомкой, не слушая привѣтственныхъ рѣчей, гдѣ черезъ третье слово повторялось хаосъ, и черезъ пятое — космосъ.

Кто бы она могла быть? Какъ разъ мимо проходилъ Пронинъ, знаменитый Пронинъ — «докторъ эстетики», директоръ «Собаки». Жилетъ его фрака уже былъ разстегнутъ, на лицѣ

блаженство, въ каждой рукѣ по горлышку шампанской бутылки. . .

— Борисъ, кто эта дама?

Вездѣсущій докторъ эстетики пожалъ плечами. — «Не знаю. И никто не знаетъ. Сама пріѣхала, сама сѣла рядомъ съ Верхарномъ. . . »

И глубокомысленно добавилъ:

— Можетъ быть, это жена его или (блаженная улыбка) или. . . племянница.

Пронинъ, повидимому, вскорѣ убѣдился въ своей ошибкѣ насчетъ таинственной дамы. По крайней мѣрѣ, когда въ Петербургѣ, черезъ полъ года, появился другой поэтическій гость — Поль Форъ, — Пронинъ, знакомя его съ Вѣрой Александровной, отрекомендовалъ ее:

— Voilà la maîtresse du Chien. . .

Онъ желалъ сказать — хозяйка «Бродячей Собаки». Вѣра Александровна была уже женой безпутнаго и веселаго «доктора эстетики».



Когда мы познакомились ближе, я услышалъ отъ Вѣры Александровны такія признанія:

— Я-бы согласилась на какую угодно муку, какъ Андерсеновская ундина — при каждомъ шагѣ испытывать боль, точно ходишь по гвоздямъ, — только-бы власть, власть надъ людьми. . .

— Власть надъ душами или. . . ну, какъ у исправника или царя?

Ахъ, — всякую! Мнѣ бы сначала хоть чуточку власти. Даже какъ у исправника, хорошо. Даже такая власть — страшная сила, умѣть только воспользоваться. . .

— Вамъ бы въ Мексику, В. А., тамъ это можно— женщинъ въ губернаторы выбираютъ.

Но она не слушаетъ.

Власть, — говоритъ она протяжно, точно пробуя на

вѣсъ это слово. — Власть... Надъ душами? Но вѣдь всякая власть надъ душами. Властвовать — надъ кѣмъ-нибудь, значитъ унижать его. Унижать его — возвышать себя. Чѣмъ больше кругомъ униженія, тѣмъ выше тотъ, кто унижаетъ...

Она смѣется.

— Что вы такъ на меня смотрите? Это я не сама выдумала — у Бальзака прочла. Или, можетъ быть, у Гюисманса...

И, таинственно, точно секретъ, сообщаетъ:

— Власть — это деньги. Больше всего на свѣтѣ я хочу денегъ.

— Всѣ хотятъ, В. А., отвѣчаю я ей въ тонъ тѣмъ-же таинственнымъ шопотомъ.

Она топаетъ ногой.

— Перестаньте. Развѣ я такъ хочу. И... знаете, кстати, кто была моей героиней въ дѣтствѣ?

— Лукреція Борджіа?

— Нѣтъ. Тереза Эмберъ.

И — «каблукомъ молоточа паркетъ»:

— Слаще всего издѣваться надъ людьми.

Отъ стука французскаго каблучка по полу, синія чашки подпрыгиваютъ на лакированномъ столикѣ. Маленькая, пухлая, точно набѣленная, рука протягиваетъ тарелку съ кексомъ...

— Я, конечно, шучу. Я самая обыкновенная женщина. Даже чтобы стать актрисой, у меня не хватило воли. А не то, что...

Сѣрые глаза холодно щурятся, накрашенныя губы улыбаются. И въ улыбкѣ этой — какое-то коварство...



Выйдя замужъ за Пронина и ставъ «la maîtresse du Chien», Вѣра Александровна сразу начала все передѣлывать, измѣнять и расширять въ «Бродячей Собакѣ». И, конечно, на третій мѣсяцъ заскучала.

Какъ было не заскучать? «Собака» — былъ маленькій подвалъ, устроенный на мѣдные гроши — двадцатипятируб-

левки, собранныя по знакомымъ. Въ немъ становилось тѣсно, если собиралось сорокъ человѣкъ, и нельзя было повернуться, если приходило шестьдесятъ. Программы не было — Пронинъ устраивалъ все на авось. — Ежели не пріѣдетъ Шаляпинъ, то... заставимъ Мушку (дворняжку Пронина) танцовать кадриль... вообще, «наворотимъ» чего нибудь...». Въ главной залѣ стояли колченогіе столы и соломенныя табуретки, прислуги не было — за ѣдой и виномъ посѣтители сами отправлялись въ буфетъ. Посѣтители эти были, по большей части, «свои люди» — поэты, актеры, художники, которымъ этотъ распорядокъ былъ по душѣ, и мѣнять они его не хотѣли... Словомъ, въ «Собакѣ» Вѣрѣ Александровнѣ дѣлать было нечего. Попытавшись неудачно ввести какія-то элегантныя новшества, перессорившись со всѣми, кто носилъ почетное званіе «друга Бродячей Собаки», и поскучавъ въ слишкомъ скромной для себя и своихъ парижскихъ туалетовъ роли, — она, по выраженію Пронина, — рѣшила «скрутить шею собачкѣ». — По ночамъ безсонные бродяги изъ петербургской богемы перестали будить дворника у воротъ, на углу Михайловской и Итальянской — и труба вентилятора, на которой на страхъ забредавшимъ въ «Собаку» «буржуямъ» была зловѣщая надпись — «не прикасаться: смерть», — перестала гудѣть на узкой лѣсенкѣ входа на третьемъ дворѣ.

На Марсовомъ полѣ былъ снятъ огромный подвалъ — не для того, чтобы возродить «Собаку», — чтобы создать что-то грандіозное, небывалое, удивительное. Надъ подваломъ поселилась хозяйка этого будущаго «грандіознаго и небывалаго». Квартира была тоже огромная, съ саженными окнами и необыкновенной высоты потолками. Холодъ въ ней былъ ужасный. Нѣсколькими этажами выше, въ квартирѣ Леонида Андреева — печи топились день и ночь, все было въ коврахъ и портьерахъ и все-таки дыханіе вылетало изо ртовъ — струйкой пара. Такой ужъ былъ холодный домъ. А въ квартирѣ Вѣры Александровны не было ни ковровъ, ни портьеръ, часто не было и дровъ, даже окна не всѣ замазаны. Съ утра до вечера, снизу оглушительно стучали молотки каменьщиковъ, съ утра

до вечера на парадной и черной лѣстницахъ обрывали звонки люди, желавшіе получить по какимъ-то счетамъ, оплатить которые было нечѣмъ. Пронинъ отъ холода и отъ нечего дѣлать спалъ, наваливъ на себѣ всѣ шубы, какія только были, а Вѣра Александровна, завитая и накрашенная, сидѣла часами у леденѣющаго зеркала, мечтая, не знаю ужъ о чемъ, — о будущемъ «Привалѣ Комедіантовъ» (такъ называлось новое кабарэ), или о власти надъ душами...

Отъ холода она куталась въ свои широкіе пушистые соболя. Впрочемъ, соболя иногда бывали въ ломбардѣ, и тогда она куталась въ одѣяло.

***

— Какъ, В. А. Вамъ и здѣсь скучно?

— Очень.

— И тѣсно?

— Да.

— Что-же, будете еще перестраиваться и расширяться?

— Я уже сняла сосѣдній подвалъ. Лѣтомъ проломаютъ стѣну, тогда венеціанскую залу будетъ продолжать галлерея. Въ этой галлереѣ...

Она машетъ рукой.

— Не знаю, можетъ и не буду перестраиваться, или оставлю все Борису, пусть дѣлаетъ, что хочетъ. Уѣду куда-нибудь...

И, высоко поднимая подрисованныя брови:

— Надоѣло. Скучно...

Внѣшность «Привала» была блестящая. Грязный подвалъ съ развороченными стѣнами — превратился, дѣйствительно, въ какое-то «волшебное царство». Изъ-подъ кружевныхъ масокъ свѣтъ неясно освѣщалъ черно-красно-золотую судейкинскую залу; «бистро» оказалось сплошь расписано удивительными парижскими фресками Бориса Григорьева, — смежная зала была декорирована Яковлевымъ. Старинная мебель, парча, деревянныя статуи изъ древныхъ церквей, лѣсенки, уголки, таин-

ственные корридоры — все это было удивительно задумано и выполнено. Вѣра Александровна, въ шелкахъ и брилліантахъ, торжествующе встрѣчала гостей — ну, каково? Пронинъ сіялъ. Наряженный во фракъ, онъ водилъ посѣтителей показывать разныя чудеса «Привала». Объясняя что-нибудь особенно горячо, онъ, по старой привычкѣ, хватался за лацканы фрака, чтобы его скинуть. Но только хватался и тотчасъ-же опускалъ руки. Не то мѣсто, не тѣ времена — бывшее въ «Собакѣ» вполнѣ естественнымъ — здѣсь было-бы неприличнымъ.

Старые завсегдатаи «Собаки» послѣ первыхъ восторговъ были немного охлаждены непривычнымъ для нихъ тономъ новаго подвала. Въ «Собакѣ» садились гдѣ кто хочетъ, въ буфетъ за ѣдой и виномъ ходили сами, сами разставляли тарелки, гдѣ заблагоразсудится... Здѣсь оказалось, что въ главномъ залѣ, гдѣ помѣщается эстрада, мѣста нумерованныя, кѣмъ-то расписанныя по телефону и дорого оплаченныя, а такъ называемые «г. г. члены петроградскаго художественнаго общества» могутъ смотрѣть на спектакль изъ другой комнаты. Но и здѣсь, не успѣвали вы сѣсть, какъ къ вамъ подлеталъ лакей съ салфеткой и меню и услышавъ, что вы ничего не «желаете», только что не хлопалъ своей накрахмаленной салфеткой по носу «нестоющаго» гостя»...

... Улыбается Карсавина, танцуетъ свою очаровательную «полечку» прелестная О. А. Судейкина. Переливаются черно-красно-золотыя стѣны. Музыка, апплодисменты, щелканье пробокъ, звонъ стакановъ... Вдругъ композиторъ Цыбульскій, обрюзгшій, пьяный, встаетъ, пошатываясь, со стаканомъ въ рукахъ: — Пппрошу слова...

— За упокой собачки, господа... — начинаетъ онъ коснѣющимъ языкомъ. — Жаль покойницу... Борисъ... Эхъ, Борисъ, зачѣмъ ты огородъ городилъ... зачѣмъ позвалъ сюда — кивокъ на смокинги первыхъ рядовъ — всѣхъ этихъ фармацевтовъ, всю эту св...

**
*

Въ общемъ, получался какой-то эстетическій, очень эстетическій, но все-же ресторанъ. Публикѣ нравилось. Публика платила дорогую входную плату, пила шампанское и смотрѣла на Евреинова въ Судейкиныхъ костюмахъ...

Ну, что-же, разъ приходятъ и пьютъ шампанское...

И я вспоминалъ: «Больше всего я хочу денегъ...»

Но вдругъ и «Привалъ», и верхняя квартира, и всѣ фаянсы остъ-индской компаніи, и всѣ платья съ глубокими декольтэ оказались описанными. Оказалось, что «Привалъ» — не только не окупается — приноситъ страшный убытокъ. Всѣ меценаты отъ него отказались, — черезъ недѣлю онъ пойдетъ съ молотка.

— Какъ-же такъ? — спрашивалъ я.

Вѣра Александровна устало поднимала брови:

— Такъ. Не знаю. Не хватало денегъ. Я подписывала векселя...

Но черезъ нѣсколько дней она встрѣтила меня веселая. Все удалось. Нашелся новый меценатъ. На время «Привалъ» закроется для ремонта, для подготовки программы...

Она стояла въ средневѣковой залѣ, расписанной Яковлевымъ, опираясь на деревянную статую какого-то святого и держа въ маленькой пухлой, странно-бѣлой рукѣ старинный ножъ, только что присланный антикваромъ.

— Лукреція Борджіа, — пошутилъ я.

Она засмѣялась:

— А? Вы помните тотъ разговоръ? Нѣтъ, нѣтъ, не Лукреція... Тереза. Вотъ, прочтите.

Я развернулъ бумагу. — Что это?

— Договоръ съ новымъ меценатомъ. Онъ обязуется платить мнѣ, все время, пока «Привалъ» закрытъ, ежемѣсячно... — Она назвала какую-то большую цифру.

— Только пока закрытъ?

Она разсмѣялась:

— Господи, какой наивный! Да, вѣдь, срокъ не указанъ. Я могу всю жизнь не открывать «Привала», и онъ будетъ всю жизнь мнѣ платить...

— Какъ-же онъ подписалъ такое?

Она церемонно поджала губы:

— О, это очень милый человѣкъ, другъ моего отца. Онъ подписалъ, не читая...

**
*

Не знаю, запротестовалъ ли, наконецъ, «милый человѣкъ», или самой Вѣрѣ Александровнѣ снова захотѣлось похозяйничать, — но «Привалъ» все-таки открылся. Лѣтомъ 1917 года — тамъ за однимъ и тѣмъ же «артистическимъ» столомъ сидѣли Колчакъ, Савинковъ и Троцкій. И Вѣра Александровна выглядѣла уже совершенной Лукреціей въ этомъ обществѣ.

Она была очень оживлена, очень хороша въ эти дни. Кажется, ей стало опять «не скучно», и какія-то новыя «грандіозности» и «возможности» ей замерещились. Я заключалъ это по ея виду, — въ разговоры со мною она не вступала, — у нея были собесѣдники поинтереснѣе.

«Душа», которой не хватало «Привалу» въ дни его расцвѣта, вселилась все-таки въ него ненадолго, передъ самой гибелью. Тѣ, кто бывалъ въ немъ въ концѣ 1917, началѣ 1918 годовъ, врядъ ли забудутъ эти вечера.

Холодно. Полутемно. Нѣтъ ни заказныхъ столиковъ, ни сигаръ въ зубахъ, ни упитанныхъ физіономій. Роскошь мебели и стѣнъ пообтрепалась. Электричество не горитъ — коегдѣ оплываютъ толстыя восковыя свѣчи...

Идетъ репетиція «Зеленаго Попугая». Пронзительная идея сыграть т а к у ю пьесу въ т а к о й обстановкѣ, не правда-ли? Шницлеровскіе діалоги звучатъ черезчуръ «убѣдительно» и для зрителей, и для актеровъ. Вѣра Александровна, блѣдная, безъ драгоцѣнностей, въ черномъ платьѣ, слушаетъ, скрестивъ руки на груди. Это она придумала поставить «Зеленаго Попугая».

Холодно. Полутемно. Съ улицы слышны выстрѣлы.... Вдругъ, топотъ ногъ за стѣной, стукъ прикладовъ въ ворота. Десятокъ красноармейцевъ, подъ командой безобразной, увѣшанной оружіемъ женщины вваливается въ «Венеціанскую Залу». — Граждане, ваши документы!..

Ихъ смиряютъ какой-то бумажкой, подписанной Луначарскимъ. Уходятъ, ворча: погодите, доберемся до васъ... И снова — оплывающія свѣчи, стихи Ахматовой или Бодлера; музыка Дебюсси или Артура Лурье...

... «Привалъ» не былъ закрытъ, — онъ именно погибъ, развалился, превратился въ прахъ. Сырость, не сдерживаемая жаромъ каминовъ, вступила въ свои права. Позолота обсыпалась, ковры начали гнить, мебель расклеилась. Большія голодныя крысы стали бѣгать, не боясь людей, рояль отсырѣлъ, занавѣсъ оборвался...

Однажды, въ оттепель, лопнули какія-то трубы, и вода изъ Мойки, старый врагъ этихъ раззоренныхъ стѣнъ, ихъ затопила.

... И все стоитъ въ «Привалѣ»
Невыкачанной вода.
Вы знаете? Вы бывали?
Неужели, никогда?

VI

«Ротонда». Обычная вечерняя толкотня. Я ищу свободный столикъ. И вдругъ, мои глаза встрѣчаются съ глазами, такъ хорошо знакомыми когда-то (Петербургъ, снѣгъ, 1913 годъ...), русскими, сѣрыми глазами. Это С. Жена извѣстнаго художника.

— Вы здѣсь! Давно?

Улыбка — разсѣянная «петербургская» улыбка. — Мѣсяцъ, какъ изъ Россіи.

— Изъ Петербурга?

— Изъ Петербурга.

С. — подруга Ахматовой. И, конечно, одинъ изъ моихъ первыхъ вопросовъ — что Ахматова?

— Аня? Живетъ тамъ-же, на Фонтанкѣ, у Лѣтняго Сада Мало куда выходитъ — только въ церковь. Пишетъ, конечно. Издавать? Нѣтъ, не думаетъ. Гдѣ ужъ теперь издавать. ..

... На Фонтанкѣ. У Лѣтняго Сада...

1922 годъ, осень. Послѣзавтра я уѣзжаю за границу. Иду къ Ахматовой — проститься. Лѣтній садъ шумитъ уже по осеннему. Инженерный замокъ въ красномъ цвѣтѣ заката. Какъ пусто! Какъ тревожно! Прощай, Петербургъ...

Ахматова протягиваетъ мнѣ руку. — А я здѣсь сумеречняю. Уѣзжаете?

Ея тонкій профиль рисуется на темнѣющемъ окнѣ. На плечахъ знаменитый темный платокъ въ большія розы:

Спадаетъ съ плечъ твоихъ, о, Федра,
Ложно-классическая шаль...

— Уѣзжаете? Кланяйтесь отъ меня Парижу.

— А вы, Анна Андреевна, не собираетесь уѣзжать?

— Нѣтъ. Я изъ Россіи не уѣду.

— Но, вѣдь, жить все труднѣе.

— Да. Все труднѣе.

— Можетъ стать совсѣмъ невыносимо.

— Что-жъ дѣлать.

— Не уѣдете?

— Не уѣду.

... Нѣтъ, издавать не думаетъ — гдѣ ужъ теперь издавать... Мало выходитъ — только въ церковь... Здоровье? Да здоровье все хуже. И жизнь такая — все приходится самой дѣлать. Ей бы на югъ, въ Италію. Но гдѣ денегъ взять. Да если-бы и были...

— Не уѣдетъ?

— Не уѣдетъ.

— Знаете, — сѣрые глаза смотрятъ на меня почти строго, — знаете, — Аня разъ шла по Моховой. Съ мѣшкомъ. Муку, кажется, несла. Устала, остановилась отдохнуть. Зима. Она одѣта плохо. Шла мимо какая-то женщина... Подала Анѣ копѣйку. — Прими, Христа ради. — Аня эту копѣйку спрятала за образа. Бережетъ...



1911 годъ. Въ «башнѣ» — квартирѣ Вячеслава Иванова — очередная литературная среда. Весь «цвѣтъ» поэтическаго Петербурга здѣсь собирается. Читаютъ стихи по кругу, и «таврическій мудрецъ», щурясь изъ-подъ пенснэ и потряхивая золотой гривой — произноситъ приговоры. Вѣжливо-убійственные, по большей части. Жестокость приговора смягчается только однимъ — невозможно съ нимъ не согласиться, такъ какъ

онъ ѣдко-точенъ. Похвалы, напротивъ, крайне скупы. Самое легкое одобреніе — рѣдкость.

Читаются стихи по кругу. Читаютъ и знаменитости и начинающіе. Очередь доходитъ до молодой дамы, тонкой и смуглой.

Это жена Гумилева. Она «тоже пишетъ». Ну, разумѣется, жены писателей всегда пишутъ, жены художниковъ возятся съ красками, жены музыкантовъ играютъ. Эта черненькая смуглая Анна Андреевна, кажется, даже не лишена способностей. Еще барышней, она писала:

И для кого эти блѣдныя губы,
Станутъ смертельной отравой?
Негръ за спиною, надменный и грубый,
Смотритъ лукаво.

Мило, не правда-ли? И непонятно, почему Гумилевъ такъ раздражается, когда говорятъ о его женѣ, какъ о поэтессѣ?

А Гумилевъ, дѣйствительно, раздражается. Онъ тоже смотритъ на ея стихи, какъ на причуду «жены поэта». И причуда эта ему не по вкусу. Когда ихъ хвалятъ — онъ насмѣшливо улыбается. — Вамъ нравится? Очень радъ. Моя жена и по канвѣ прелестно вышиваетъ.

— Анна Андреевна, вы прочтете?

Лица присутствующихъ «настоящихъ» расплываются въ снисходительную улыбку. Гумилевъ, съ недовольной гримасой, стучитъ папиросой о портсигаръ.

— Я прочту.

На смуглыхъ щекахъ появляются два пятна. Глаза смотрятъ растерянно и гордо. Голосъ слегка дрожитъ.

Я прочту.

Такъ безпомощно грудь холодѣла,
Но шаги мои были легки,
Я на правую руку надѣла,
Перчатку съ лѣвой руки...

На лицахъ — равнодушно-любезная улыбка. Конечно, не серьезно, но мило, не правда-ли? — Гумилевъ бросаетъ недокуренную папиросу. Два пятна еще рѣзче выступаютъ на щекахъ Ахматовой...

Что скажетъ Вячеславъ Ивановъ? Вѣроятно, ничего. Промолчитъ, отмѣтитъ какую-нибудь техническую особенность. Вѣдь, свои уничтожающіе приговоры онъ выноситъ серьезнымъ стихамъ настоящихъ поэтовъ. А тутъ... Зачѣмъ-же напрасно обижать...

Вячеславъ Ивановъ молчитъ минуту. Потомъ встаетъ, подходитъ къ Ахматовой, цѣлуетъ ей руку.

— Анна Андреевна, поздравляю васъ и привѣтствую. Это стихотвореніе — событіе въ русской поэзіи.

***

Въ обставленномъ удивительной «Александровской» мебелью кабинетѣ Аркадія Руманова виситъ большое полотно Альтмана, художника, только что вошедшаго въ славу: Румановъ положилъ ей начало, купивъ этотъ портретъ за «фантастическія» для начинающаго художника деньги.

Нѣсколько оттѣнковъ зелени. Зелени ядовито-холодной. Даже не малахитъ — мѣдный купоросъ. Острыя линіи рисунка тонутъ въ этихъ безпокойно зеленыхъ углахъ и ромбахъ. Это должно изображать деревья, листву, но не только не напоминаетъ, но, напротивъ, кажется чѣмъ-то враждебнымъ:

... въ океанѣ первозданной мглы,
Нѣтъ облаковъ и нѣтъ травы зеленой,
А только кубы, ромбы да углы,
Да злые металлическіе звоны.

Цвѣтъ ѣдкаго купороса, злой звонъ мѣди. — Это фонъ картины Альтмана.

На этомъ фонѣ женщина — очень тонкая, высокая и блѣдная. Ключицы рѣзко выдаются. Черная, точно лакированная, челка закрываетъ лобъ до бровей. Смугло-блѣдныя щеки, блѣдно-красный ротъ. Тонкія ноздри просвѣчиваютъ. Глаза, обведенные кругами, смотрятъ холодно и неподвижно — точно не видятъ окружающаго.

... Только кубы, ромбы да углы

и всѣ черты лица, всѣ линіи фигуры — въ углахъ. Угловатый ротъ, угловатый изгибъ спины, углы пальцевъ, углы локтей. Даже подъемъ тонкихъ, длинныхъ ногъ — угломъ. Развѣ бываютъ такія женщины въ жизни? Это вымыселъ художника! Нѣтъ — это живая Ахматова. Не вѣрите? Приходите въ «Бродячую Собаку» попозже, часа въ четыре утра.

Да, я любила ихъ — тѣ сборища ночныя:
На маленькомъ столѣ стаканы ледяные,
Надъ чернымъ кофіемъ пахучій, тонкій паръ,
Камина краснаго тяжелый зимній жаръ,
Веселость ѣдкую литературной шутки,
И друга первый взглядъ, безпомощный и жуткій.

Четыре-пять часовъ утра. Табачный дымъ, пустыя бутылки. Часъ назадъ было весело и шумно — кто-то пѣлъ, подыгрывая самъ себѣ, глупые куплеты, кто-то требовалъ еще вина. Теперь шумѣвшіе либо разошлись, либо дремлютъ. Въ подвалѣ почти тишина.

Мало кто сидитъ за столиками посрединѣ зала. Больше по угламъ, у пестро-расписанныхъ стѣнъ, подъ заколоченными окнами.

Навсегда забиты окошки,
Что тамъ — изморозь иль гроза?

Не все-ли равно, что тамъ, на улицѣ, въ Петербургѣ, въ мірѣ... Отъ выпитаго вина кружится голова, дымъ застилаетъ глаза. Разговоры идутъ полушопотомъ.

Здѣсь цѣпи многія развязаны,
Все сохранитъ подземный залъ,
И тѣ слова, что ночью сказаны,
Другой бы утромъ не сказалъ.

И вдругъ — оглушительная, шалая музыка. Дремавшіе вздрагиваютъ. Рюмки подпрыгиваютъ на столахъ. Пьяный музыкантъ ударилъ изо всѣхъ силъ по клавишамъ. Ударилъ, оборвалъ, играетъ что-то другое, тихое и грустное. Лицо играющаго красно, потно. Слезы падаютъ изъ его блаженно-безсмысленныхъ глазъ на клавиши, залитыя ликеромъ.

Пятый часъ утра. «Бродячая собака».

Ахматова сидитъ у камина. Она прихлебываетъ черный кофе, куритъ тонкую папироску. Какъ она блѣдна!

Да, она очень блѣдна — отъ усталости, отъ вина, отъ рѣзкаго электрическаго свѣта. Концы губъ — опущены. Ключицы рѣзко выдаются. Глаза глядятъ холодно и неподвижно, точно не видятъ окружающаго.

Всѣ мы грѣшники здѣсь, блудницы,
Какъ невесело вмѣстѣ намъ.
На стѣнахъ цвѣты и птицы,
Томятся по облакамъ,

но — въ океанѣ первозданной мглы

Нѣтъ облаковъ и нѣтъ травы зеленой.

Трава, облака, жизнь, смѣхъ, — все осталось тамъ — за «навсегда забитыми окошками». Здѣсь только:

Веселость ѣдкая литературной шутки,
И друга первый взглядъ, безпомощный и жуткій...

Слишкомъ ѣдкая веселость. Слишкомъ жуткіе взгляды.

Ахматова никогда не сидитъ одна. Друзья, поклонники, влюбленные, какія-то дамы въ большихъ шляпахъ и съ подведенными глазами. Съ памятнаго вечера у Вячеслава Иванова, когда она срывающимся голосомъ читала стихи, прошло два

года. Она всероссійская знаменитость. Ея слава все растетъ.

Папироса дымится въ тонкой рукѣ. Плечи, закутанныя въ шаль, вздрагиваютъ отъ кашля.

— Вамъ холодно? Вы простудились?

— Нѣтъ, я совсѣмъ здорова.

— Но вы кашляете.

— Ахъ, это? — Усталая улыбка. — Это не простуда, это чахотка.

И, отворачиваясь отъ встревоженнаго собесѣдника, говоритъ другому:

— Я никогда не знала, что такое счастливая любовь...

... Несла мѣшокъ. Остановилась отдохнуть. Какая-то женщина...

.... Молодые люди въ смокингахъ почтительно ловятъ каждое слово Ахматовой. Влюбленные глаза слѣдятъ за каждымъ ея движеніемъ.

... Аня эту копѣйку спрятала... бережетъ...

Въ Царскомъ Селѣ у Гумилевыхъ домъ. Снаружи такой-же, какъ и большинство царскосельскихъ особняковъ. Два этажа, обсыпающаяся штукатурка, дикій виноградъ на стѣнѣ. Но внутри — тепло, просторно, удобно. Старый паркетъ поскрипываетъ, въ стеклянной столовой розовѣютъ большіе кусты азалій, печи жарко натоплены. Библіотека въ широкихъ диванахъ, книжныя полки до потолка... Комнатъ много, какіе-то все кабинетики съ горой мягкихъ подушекъ, неярко освѣщенные, пахнущіе невывѣтриваемымъ запахомъ книгъ, старыхъ стѣнъ, духовъ, пыли...

Тишину вдругъ прорѣзаетъ пронзительный крикъ. Это горбоносый какаду злится въ своей клѣткѣ. Тотъ самый:

А теперь я игрушечной стала,
Какъ мой розовый другъ какаду.

«Розовый другъ» хлопаетъ крыльями и злится. — Маша, — накиньте платокъ на его клѣтку...

Дома, и то очень рѣдко, можно увидѣть совсѣмъ другую Ахматову.

У Гумилевыхъ — послѣдній пріемъ. Конецъ мая. Всѣ разъѣзжаются.

— Я такъ рада, — говоритъ Ахматова, — что въ этомъ году мы не поѣдемъ за границу. Въ прошлый разъ въ Парижѣ я чуть не умерла отъ скуки.

— Отъ скуки? Въ Парижѣ!..

— Ну, да. Коля цѣлые дни бѣгалъ по какимъ-то экзотическимъ музеямъ. Я экзотики не выношу. Отъ музеевъ у меня дѣлается мигрень. Сидишь одна, такая, бывало, скука. Я себѣ даже черепаху завела. Черепаха ползаетъ — смотрю. Все-таки развлеченіе.

— Аня, — недовольнымъ тономъ перебиваетъ ее Гумилевъ, — ты забываешь, что въ Парижѣ мы почти каждый день ѣздили въ театры, въ рестораны.

— Ну, ужъ и каждый вечеръ, — дразнитъ его Ахматова. — Всего два раза.

И смѣется, какъ дѣвочка.

— Какъ вы не похожи сейчасъ на свой Альтмановскій портретъ!

Она насмѣшливо пожимаетъ плечами.

— Благодарю васъ. Надѣюсь, что непохожа.

— Вы такъ его не любите?

— Какъ портретъ? Еще бы. Кому-же нравится видѣть себя зеленой муміей.

— Но иногда сходство кажется поразительнымъ.

Она снова смѣется:

— Вы говорите мнѣ дерзости. И открываетъ альбомъ.

— А здѣсь, — есть сходство?

Фотографія снята еще до свадьбы. Веселое дѣвическое лицо...

— Какой у васъ тутъ гордый видъ.

— Да! Тогда я была очень гордой. Это теперь присмирѣла...

— Гордились своми стихами?

— Ахъ, нѣтъ, какими стихами. Плаваніемъ. Я, вѣдь, плаваю, какъ рыба.

Тотъ-же домъ, та-же столовая. Ахматова въ тѣ-же чашки разливаетъ чай и протягиваетъ тѣмъ-же гостямъ. Но лица какъ-то желтѣй, точно состарились за два года, голоса тише. На всемъ — и на лицахъ, и на разговорахъ, — какая-то тѣнь.

И хозяйка не похожа ни на декадентскую даму съ Альтмановскаго портрета, ни на дѣвочку, гордящуюся тѣмъ, что она плаваетъ, «какъ рыба». Теперь въ ней что-то монашеское.

... Въ Августовскихъ лѣсахъ погибло два корпуса...

— Нѣтъ ни оружія, ни припасовъ...

— У Z. убили двухъ сыновей.

— Говорятъ, скоро не будетъ хлѣба....

Гумилева нѣтъ, — онъ на фронтѣ.

— Прочтите стихи, Анна Андреевна.

— У меня теперь стихи скучные.

И она читаетъ «Колыбельную»:

... Спи, мой тихій, спи, мой мальчикъ,
Я дурная мать.
Долетаютъ рѣдко вѣсти,
Къ нашему крыльцу.
Подарили бѣлый крестикъ твоему отцу.
Было горе, будетъ горе,
Горю нѣтъ конца.
Да хранитъ Святой Егорій,
Твоего отца»...

Еще два года. Двѣ-три случайныя встрѣчи съ Ахматовой. Все меньше она похожа на ту, прежнюю. Все больше на монашенку. Только шаль на ея плечахъ прежняя — темная, въ красныя розы. «Ложно-классическая шаль». Какая тамъ шаль ложно-классическая — просто платокъ, накинутый, чтобы не зябли плечи!

Еще годъ. Пушкинскій вечеръ. Странное торжество — кто во фракѣ, кто въ тулупѣ — въ нетопленномъ залѣ. Блокъ на эстрадѣ говоритъ о Пушкинѣ — невнятно и взволнованно. Ахматова стоитъ въ углу. На ней старомодное шелковое платье

съ высокой таліей. Худое — жалкое — прекрасное лицо. Она стоитъ одна. Къ ней подходятъ, цѣлуютъ руку. Чаще всего — молча. Что ей, такой, сказать. Не спрашивать-же, «какъ поживаете».

... Еще полгода. Смоленское кладбище. Гробъ Блока въ цвѣтахъ. Еще двѣ недѣли — панихида въ Казанскомъ соборѣ по только-что разстрѣлянномъ Гумилевѣ...

... Да, я любила ихъ, тѣ сборища ночныя,
На низкихъ столикахъ стаканы ледяные...

Ладанъ. Заплаканныя лица. Пѣвчіе.

... Веселость ѣдкую литературной шутки...



Заслужила-ли Ахматова свою славу?

Вѣренъ-ли былъ приговоръ Вячеслава Иванова?

... Я помню вечеръ Ахматовой въ «Домѣ Литераторовъ» въ 1921 году.

Ахматова нигдѣ не выступала съ первыхъ дней революціи, нигдѣ не печаталась. Она жила отшельницей — мало кто зналъ, гдѣ и какъ, даже друзья. Объ Ахматовой, жившей безвыѣздно въ Петербургѣ, въ литературныхъ кругахъ ходили слухи — достовѣрнаго никто не зналъ.

Ахматова умираетъ съ голоду...

Ахматова бѣжала за границу...

Она пять лѣтъ ничего не пишетъ...

Она пишетъ удивительные стихи...

Ахматова — арестована...

Ахматова жила въ комнатѣ безъ печки, обставленной чугунной мебелью, принесенной изъ сада. Стихи она писала, но не печатала и не читала никому. Наконецъ, весной 1921 года былъ объявленъ ея вечеръ.

Въ маленькій залъ «Дома Литераторовъ» не попало и десятой части желавшихъ услышать Ахматову. Потомъ вечеръ былъ повторенъ въ Университетѣ. Но и огромное университетское помѣщеніе оказалось недостаточнымъ. Тріумфъ, казалось-бы?

Нѣтъ. Большинство слушателей было разочаровано.

— Ахматова исписалась.

Ну, конечно.

Пять лѣтъ ея не слышали и не читали. Ждали того, за что Ахматову любили — новыхъ перчатокъ съ лѣвой руки на правую. А услышали совсѣмъ другое:

Все потеряно, предано, продано,
Отчего-же намъ стало свѣтло?
И такъ близко подходитъ чудесное,
Къ развалившимся грязнымъ домамъ.
Никому, никому неизвѣстное,
Но отъ вѣка желанное намъ.

Слушатели недоумѣвали — «большевизмъ какой-то». По старой памяти, хлопали, но про себя рѣшали: кончено — исписалась.

Критика съ удовольствіемъ подхватила этотъ «гласъ народа». Теперь каждый, слѣдящій за литературой, гимназистъ знаетъ — отъ Ахматовой ждать нечего.

Вѣрно — нечего. Широкая публика, дѣлавшая когда-то славу Ахматовой, славу въ необычномъ для настоящаго поэта порядкѣ, шумную, молніеносную — Ахматовой обманута. Всѣ курсистки Россіи, выдавшія ей «мандатъ» быть властительницей ихъ душъ — обмануты.

Ахматова оказалась поэтомъ, съ каждымъ годомъ головой перерастающимъ самое себя. Въ сущности, уже ко времени «Бѣлой стаи» она вполнѣ «исписалась». Чего-же было ждать отъ ея послѣдняго сборника Anno Domini, — книги еще болѣе близкой къ совершенству.

Итакъ, заслужила-ли Ахматова свою славу? Конечно,нѣтъ.

Милыя бестужевки, дорогія медички — вы ошиблись въ вашей избранницѣ. Надо было ставить на Лидію Лѣсную.

Правъ-ли былъ Вячеславъ Ивановъ?

Еще бы. Рѣдкая честь принадлежитъ ему. Сквозь временное и случайное (именно то, что нравилось, единственное, что нравилось) — первому увидать безсмертное лицо поэта.

VII

Въ кабинкѣ лифта кнопками приколотъ плакатъ. Чертъ со смѣющейся рожей, зелеными глазками и лиловымъ хвостомъ. Подъ нимъ — надпись:

«Просятъ ядовитое зелье (табакъ) не курить».

Кто проситъ? Домохозяинъ?

Нѣтъ. Плакатъ повѣшенъ квартирантомъ третьяго этажа — Сергѣемъ Городецкимъ.

Но какъ-же это онъ распоряжается. Вѣдь, лифтъ не его квартира?

Ахъ, что тамъ — какъ распоряжается. Кто же ему запретитъ?

Сергѣй Митрофановичъ такой милый человѣкъ, такой славный. Если-бы и захотѣлъ домовладѣлецъ сдѣлать ему замѣчаніе, — какъ сдѣлаешь? Тотъ ему — «къ сожалѣнію моему, долженъ васъ просить»... — а Городецкій, не дослушавъ, хлопнетъ его по плечу. — Какъ поживаете, дорогой? Какъ драгоцѣнное? Супруга что, дѣтишки...

Дѣтей обожаетъ. Рисуетъ имъ картинки — вотъ, вродѣ, какъ въ лифтѣ: «Чертикъ въ печкѣ», «Девять мышекъ и кошечка Маня». Состроитъ страшные глаза, сдѣлаетъ «козу», стишки тутъ-же сочинитъ. — Какъ тебя зовутъ? Петя. Ну, такъ слушай:

Жилъ на свѣтѣ мальчикъ Петя,
Много Петь живетъ на свѣтѣ.
Только Петя мой —
Былъ совсѣмъ другой...

Глаза свѣтлые, взглядъ открытый, «душевный». Волосы русые — кудрями. Голосъ пѣвучій. Некрасивъ, но пріятнѣе любого красавца — «располагающая наружность» и наружность не обманываетъ: дѣйствительно, милый человѣкъ. Всякому услужитъ, всякому улыбнется. Встрѣтитъ на улицѣ старуху съ мѣшкомъ — «бабушка, дай подсоблю». Нищаго не пропуститъ. Ребенку сейчасъ леденецъ, всегда въ карманѣ носитъ...

Помогъ, пошутилъ, улыбнулся и идетъ себѣ дальше, посвистывая или напѣвая. Глаза блестятъ, бѣлые зубы блестятъ. Даже чухонская шапка съ наушниками какъ-то особенно мило сидитъ на его откинутой головѣ.



«Ядовитое зелье просятъ не курить». Впрочемъ, для неисправимыхъ курильщиковъ — отведенъ въ квартирѣ Городецкаго закоулокъ. Если невтерпежъ, они туда удаляются. Тамъ, съ обязательствомъ плотно притворять двери, они могутъ вдоволь «отравляться» у окна, распахнутаго на черную лѣстницу. Стѣны закутка разрисованы поучительной исторіей: «Упорный куритель и что съ нимъ было». Очень талантливо нарисовано. Вообще, что за талантливое существо Городецкій! За что ни возьмется — талантливо. И все съ налету, шутя, съ улыбкой, мимоходомъ... Такъ и стихи началъ писать и, шутя, — прославился. Легъ спать никому невѣдомымъ двадцатилѣтнимъ студентомъ, а на утро — вышла «Ярь» — проснулся знаменитостью. И кто не читалъ черезъ мѣсяцъ наизусть:

Стоны, звоны, перезвоны,
Стоны звоны, звоны - сны.

Высоки крутые склоны,
Крутосклоны зелены...

... Вечеромъ, во вторникъ — пріемный день у Городецкихъ. Передъ закуткомъ для курильщиковъ — очередь. Чиркнутъ спичкой, глотнутъ наскоро дыму и, уступая мѣсто другимъ, возвращаются въ гостинную. Тамъ — въ центрѣ комнаты — большой круглый столъ. На столѣ розы въ хрустальномъ цилиндрѣ, дынное варенье, дымящіяся гарднеровскія чашки. Въ окруженіи литераторскихъ дамъ, жена Городецкаго, «Нимфа», сіяя нѣсколько тяжеловѣсной красотой, разливаетъ пухлыми пальчиками чай. Почему Городецкій, ненавистникъ всякой «классической мертвечины», назвалъ жену «Нимфой»? И почему Нимфа? Скорѣе ужъ Церера... Но за Анной Александровной это прозвище прочно укрѣпилось, послѣ того особенно, какъ одна изъ книгъ Городецкаго вышла съ посвященіемъ: «Тебѣ — Нимфа».

Вдоль канареечныхъ стѣнъ гостинной — въ два ряда размѣщены поэты.

Въ два ряда. Внизу на тахтахъ гости. На стѣнахъ портреты гостей въ натуральную величину, работы хозяина дома.

Если вы познакомились съ Городецкимъ, начали у него бывать и вы поэтъ — онъ непремѣнно васъ нарисуетъ. Немного пестро, но очень похоже и «мило». И, обязательно, на рогожѣ.

Рисуетъ Городецкій всегда на рогожѣ — это его изобрѣтеніе. И дешево — и есть въ этомъ что-то «простонародное» — любезное его сердцу. И, хотя народъ рогожами пользуется отнюдь не для живописи, — Городецкому искренно кажется, что, выводя на рогожѣ Макса Волошина, въ сюртукѣ и съ хризантемой въ петлицѣ, онъ много ближе къ «родной неуемной стихіи», чѣмъ если-бы то-же самое онъ изображалъ на полотнѣ.

Съ одной стороны, «стихія», съ другой — Италія. Раскрашенные квадратики рогожъ, — чѣмъ не мозаика?

Страсть къ Италіи внушилъ недавно Городецкому его но-

вый, ставшій неразлучнымъ, другъ — Гумилевъ. Послѣ «разговора въ ресторанѣ, за бутылкой вина» объ Италіи — съ Гумилевымъ, Городецкій, часъ назадъ вполнѣ равнодушный, — «влюбился» въ нее со всей своей пылкостью. Влюбившись же, по причинѣ той же пылкости, не могъ усидѣть въ Петербургѣ, не повидавъ Италію немедленно и собственнолично.

И вотъ, черезъ недѣлю Городецкій уже гулялъ по Венеціи, потряхивая кудрями и строя «итальянчикамъ» козу. Ничего — понравилось.

**
*

Портреты на рогожахъ сіяли всей пестротой красокъ. Оригиналы ихъ, размѣщавшіеся вдоль стѣнъ, выглядѣли, естественно, болѣе буднично. Они раздѣлялись на просто гостей и гостей почетныхъ. Первые были въ пиджакахъ и воротничкахъ и изъяснялись на «мертвомъ интеллигентскомъ языкѣ». Вторые говорили на О и нараспѣвъ и одѣты были въ поддевки и косоворотки.

У Городецкаго, при всей перемѣнчивости его взглядовъ и вкусовъ, было одно «устремленіе», которое не мѣнялось: страсть къ лубочному «русскому духу»... Безразлично, что «воспѣвалъ» онъ въ разныя времена въ разныхъ пустыхъ, звонкихъ и болтливыхъ строфахъ. Ихъ лубочная суть оставалась все та-же — не хуже, не лучше. «Срѣтенье Царя» не отличается отъ оды Буденному, и описанія Венеціи отдаютъ слегка «чайной русскаго народа»...

Естественнымъ дополненіемъ пристрастія къ «русскому духу» было стремленіе Городецкаго открывать таланты изъ народа и окружать себя ими.

Казалось бы, что дурного — если извѣстный и вліятельный петербугскій писатель такъ дружественно, такъ широко и охотно идетъ навстрѣчу начинающимъ. Тѣмъ болѣе, начинающимъ «изъ деревни», самымъ неопытнымъ, самымъ безпомощнымъ на первыхъ порахъ. Казалось бы, напротивъ — хорошо.

Но получалось плохо. Даже очень.

Получалось такъ. Пріѣзжаетъ въ Петербургъ Есенинъ. Шестнадцатилѣтній, робкій, бредящій стихами. Его мечта — стать «настоящимъ писателемъ». Онъ пріѣхалъ малограмотнымъ и въ лаптяхъ, но съ твердымъ намѣреніемъ сбросить и то, и другое, — вообще всю свою «сѣрость». Вотъ онъ уже и не въ лаптяхъ, уже какъ-то «разстарался», справилъ себѣ «тройку», чтобы не отличаться отъ «городскихъ», «ученыхъ». Но онъ понимаетъ, что главное отличіе не въ платьѣ. И со всѣмъ своимъ шестнадцатилѣтнимъ «напоромъ» старается стереть это различіе. Конечно, такое рвеніе тоже не безопасно, — слишкомъ усердно «стирая», можно стереть и самобытность и свѣжесть. Помощь расположеннаго и опытнаго старшаго товарища тутъ очень нужна. Помимо такой профессіональной помощи, нужна и другая — просто дружеская рука, протянутая человѣку, теряющемуся въ совершенно чужой ему обстановкѣ.

Понятно, что Есенинъ и вообще «Есенины», пообмерзнувъ въ традиціонномъ петербургскомъ «холодѣ», — были счастливы, когда встрѣчали Городецкаго.

Послѣ мѣсяца хожденія съ тетрадкой стиховъ «по писателямъ» — деревенскій начинающій смущенъ и разочарованъ.

Писатели — люди «черствые», равнодушные. Смотрятъ на него, какъ на обыкновеннаго новобранца литературнаго войска, — много ихъ ходитъ, съ тетрадками. Холодное одобреніе Блока... Строгій взглядъ черезъ лорнетку З. Гиппіусъ... Придирчивый разборъ Сологуба — вотъ эта строчка у васъ не дурна, остальное зелено... И ко всѣмъ этимъ скупымъ похваламъ — одинъ и тотъ-же припѣвъ: учиться, учиться. Работать, работать, работать...

И вдругъ, знакомство съ Городецкимъ, такимъ сердечнымъ, ласковымъ, милымъ, такой «родной душой». И въ первой же бесѣдѣ съ этой родной душой — полная «переоцѣнка цѣнностей». Начинающій изъ деревни (какъ и всякій начинающій) самъ считалъ, конечно, что «свѣтъ его недооцѣниваетъ», но врядъ-ли, до бесѣды съ «родной душой», — понималъ, до какой степени этотъ бездушный свѣтъ глухъ и

слѣпъ. Оказывается — онъ генiй, это рѣшено. И не просто генiй, а народный, что много выше обыкновеннаго. И много проще. Всѣ эти штуки съ упорной работой — для интеллигентовъ, существъ низшихъ. Дѣло же народнаго генiя — «выявлять стихiю». Вотъ оно что. «Сѣрость», оказывается, вовсе не надо стирать, — она и есть «стихiя». Скорѣе вонъ изъ головы «мертвую учебу», скорѣе лапти обратно на ноги, скорѣе обратно поддевку, гармонику, залихватскую частушку.

***

Для своей «народной школы», пополнявшейся каждый сезонъ новыми «соблазненными мужичками», кромѣ домашнихъ собесѣдованiй, — гдѣ «генiально», «выше Пушкина» и т. п., звучало обыденной похвалой, Городецкiй устраивалъ еще и открытые вечера — «Гала», такъ сказать. Тамъ

... Было все очень просто, было все очень мило...

На эстрадѣ — портретъ Кольцова, осѣненный жестянымъ серпомъ и деревянными вилами. Внизу — два «аржаныхъ» снопа (отъ частаго употребленiя, порядочно растрепанныхъ) и полотенце, вышитое крестиками. Фонъ декорированъ малороссiйской плахтой изъ кабинета Городецкаго. Этимъ смягчается «интеллигентское безличiе» эстрады, и создается настроенiе, близкое къ «стихiи». Должно быть, чтобы еще ближе перенести слушателей въ обстановку русской деревни, — обычный распорядительскiй колокольчикъ отмѣняется. Вмѣсто него — какой-то не то гонгъ, не то тимпанъ. Съ бубенцами... Въ обычное время онъ виситъ въ томъ же кабинетѣ — у печки.

Городецкiй выходитъ на эстраду и ударяетъ въ этотъ тимпанъ. Видъ у него восторженно-сiяющiй, ласково-озабоченный. Кудри взъерошены. Голубая или «алая» косоворотка... Внимательный глазъ иногда различитъ подъ косовороткой очертанiя твердаго пластрона — это значитъ, что, послѣ вечера, надо ѣхать въ изящный клубъ, гдѣ любитъ ужинать «Нимфа», и рубашка надѣта для скорости обратнаго переодѣванiя поверхъ крахмальнаго бѣлья и чернаго банта смокинга.

Городецкій ударяетъ въ свой «тимпанъ» и приглашаетъ къ вниманію. Свѣтъ гаснетъ. Только эстрада съ Кольцовымъ и снопами — въ яркомъ блескѣ рефлекторовъ.

Сергѣй Есенинъ...

Зеленая плахта съ малиновыми разводами откидывается. Выходитъ Есенинъ.

На немъ тоже косоворотка — розовая, шелковая. Золотой кушакъ, плисовые шаровары. Волосы подвиты, щеки нарумянены. Въ рукахъ — о, Господи, пукъ васильковъ — бумажныхъ.

Выходитъ онъ подбоченясь, весь какъ-то «по молодецки» раскачиваясь. Прорепетировано, должно быть, не разъ. Улыбка ухарская и... растерянная. Тоже, вѣрно, репетировалась эта улыбка. Но смущеніе сильнѣе. Выйдя, онъ молчитъ, безпокойно озираясь...

— Валяй, Сережа, — слышенъ ободряющій голосъ Городецкаго изъ-за плахты. — Валяй, чего стѣсняться.

Чего, въ самомъ дѣлѣ?

Есенинъ пріободряется. Голосъ начинаетъ звучать увѣреннѣй. Ухарская улыбка шире расплывается. Есенина я видѣлъ полгода тому назадъ, до его знакомства съ Городецкимъ. Какъ онъ измѣнился, однако. И стихи какъ измѣнились...

... Лады, Лели, гусли-самогуды, струны-самозвоны... — Врядъ-ли раньше Есенинъ и слыхалъ объ этихъ самогудахъ и Ладахъ... Иногда, среди нихъ выскочитъ и неприличное, «похабное» словцо. Эти онъ, конечно, зналъ и раньше, но по «неопытности» полагалъ, должно быть, что вставлять ихъ не то, что въ стихи, — а и въ разговоръ, не хорошо. Теперь, бойко ихъ выкрикивая, оглядываетъ еще публику: Что? Каково?..

Сергѣй Клычковъ...

Выходитъ, наряженный коробейникомъ изъ хора, Клычковъ. Читаетъ нараспѣвъ — какъ оперные слѣпцы. Тѣ же Лады и гусли, только болѣе деревянно, менѣе находчиво, чѣмъ у Есенина. Тоже недавно держался просто, писалъ проще и лучше. Теперь, спасибо наставнику, «нашелъ себя». А то, было,

совсѣмъ пропадалъ, — въ университетъ готовился, — латынь зубрилъ...

Николай Клюевъ...

Клюевъ спѣшно обдергиваетъ у зеркала въ распорядительской поддевку и поправляетъ пятна румянъ на щекахъ. Глаза его густо, какъ у балерины, подведены. Морщинки (Клюеву лѣтъ сорокъ) вокругъ умныхъ, холодныхъ глазъ сами собой расплываются въ дѣланную сладкую, глуповатую улыбочку.

— Николай Васильевичъ, скорѣй!..

— Идуу... — отвѣчаетъ онъ нараспѣвъ и истово крестится. — Идуу... только что-то боязно, — братишечка... Ну, была не была — Господи, благослови... — Ничуть ему не «боязно» — Клюевъ человѣкъ бывалый и знаетъ себѣ цѣну. Это онъ просто входитъ въ роль «мужичка-простачка».

Потомъ степенно выплываетъ, степенно раскланивается «честному народу», и начинаетъ истово, на О:

Ахъ ты, птица, птица райская,
Дребезда золотоперая...

Единственнаго настоящаго поэта этого жанра Городецкій какъ разъ проглядѣлъ. Прочелъ его рукописи и не обратилъ вниманія. Открылъ Клюева «бездушный» Брюсовъ.

Но, пріѣхавъ въ Петербургъ, Клюевъ попалъ тотчасъ-же подъ вліяніе Городецкаго и твердо усвоилъ пріемы мужичка-травести.

— Ну, Николай Васильевичъ, какъ устроились въ Петербургѣ?

— Слава тебѣ, Господи, не оставляетъ Заступница насъ грѣшныхъ. Сыскалъ клѣтушку-комнатушку, много-ли намъ надо? Заходи, сынокъ, осчастливь. На Морской, за угломъ, живу....

Я какъ-то зашелъ къ Клюеву. Клѣтушка оказалась номеромъ Отель де Франсъ, съ цѣльнымъ ковромъ и широкой турецкой тахтой. Клюевъ сидѣлъ на тахтѣ, при воротничкѣ и галстукѣ, и читалъ Гейне въ подлинникѣ.

— Маракую малость по басурманскому, — замѣтилъ онъ мой удивленный взглядъ. — Маракую малость. Только не лежитъ душа. Наши соловьи голосистѣй, охъ, голосистѣй...

— Да что-жъ это я, — взволновался онъ, — дорогого гостя какъ принимаю. Садись, сынокъ, садись, голубь. Чѣмъ угощать прикажешь? Чаю не пью, табаку не курю, пряника медоваго не припасъ. А то — онъ подмигнулъ — если не торопишься, можетъ, пополудничаемъ вмѣстѣ. Есть тутъ одинъ трактирчикъ. Хозяинъ хорошій человѣкъ, хоть и французъ. Тутъ, за угломъ. Альбертомъ зовутъ.

Я не торопился. — Ну, вотъ, и ладно, ну, вотъ, и чудесно — сейчасъ обряжусь...

— Зачѣмъ-же вамъ переодѣваться?

— Что ты, что ты — развѣ можно? Собаки засмѣютъ. Обожди минутку — я духомъ.

Изъ-за ширмы онъ вышелъ въ поддевкѣ, смазныхъ сапогахъ и малиновой рубашкѣ: — Ну, вотъ — такъ то лучше!

— Да, вѣдь, въ ресторанъ въ такомъ видѣ, какъ разъ, не пустятъ.

— Въ общую и не просимся. Куда намъ, мужичкамъ, промежъ господъ? Знай, сверчокъ, свой шестокъ. А мы не въ общемъ, мы въ клѣтушку-комнатушку, отдѣльный, то-есть. Туда и намъ можно...

**
*

Публика аплодируетъ. Публика довольна. Городецкій сіяетъ.

Онъ искренно счастливъ, этотъ милый, пріятный, обходительный, даровитый человѣкъ. Онъ отъ души радъ, что все такъ хорошо, и всѣмъ такъ нравится и, больше всѣхъ, ему, Городецкому. Онъ весело окидываетъ залъ ясными, открытыми глазами, кого-то хлопаетъ по плечу, кому-то жметъ руки, обнимаетъ кого-то...

Бываютъ и непріятности, конечно. Сологубъ, напримѣръ, прощаясь, проворчитъ по стариковски:

— А гдѣ вашъ главный распорядитель?

— Какой, Федоръ Кузьмичъ?

— Да Лейфертъ, костюмеръ. Лапти-то у него напрокатъ брали?

Но что понимаетъ Сологубъ въ «народномъ искусствѣ»?

Гумилевъ въ совѣтскія времена часто вздыхалъ:

— Жаль, что Городецкаго нѣтъ.

— Онъ, кажется, у бѣлыхъ?

— Да. На югѣ гдѣ-то. Это, впрочемъ, къ лучшему. Застрянь онъ здѣсь, его живо бы разстрѣляли.

— Насъ же не разстрѣливаютъ?

— Мы другое дѣло. Онъ слишкомъ ребенокъ: довѣрчивъ, восторженъ... и простъ. Сталъ-бы агитировать, рѣзать большевикамъ правду въ лицо, попался-бы съ какими-нибудь стишками .. Непремѣнно-бы разстрѣляли. Слава Богу, что онъ у бѣлыхъ. Но мнѣ его часто недостаетъ, — того веселья, которое отъ него шло.

И прибавлялъ, улыбаясь:

— Въ сущности, вся наша дружба съ нимъ — дружба взрослаго съ ребенкомъ. Я — взрослый, серьезный, скучный. А Городецкій живетъ — точно въ пятнашки играетъ. Должно быть, насъ и привлекло другъ въ другѣ то, что мы такіе разные.

***

Весной 1920 года Городецкій пріѣхалъ въ Петербургъ. Пріѣхалъ съ новенькимъ партійнымъ билетомъ въ карманѣ и въ предшествіи коммунистки Лариссы Рейснеръ. Мужъ Рейснеръ, извѣстный Раскольниковъ, комиссаръ Балтфлота, захватилъ гдѣ-то, на фронтѣ, вмѣстѣ съ поѣздомъ «Освага» и работавшаго въ «Освагѣ» Городецкаго.

... На эстрадѣ на этотъ разъ стоялъ не Кольцовъ, а Ленинъ, и не вилы, а молотъ перекрещивался съ серпомъ. И ужъ не косоворотка, а «революціонный» френчъ былъ на Городецкомъ.

Райснеръ говорила вступительное слово. — Кто изъ насъ

бросить въ него камнемъ? У кого изъ насъ руки не выпачканы... грязными чернилами «Рѣчи»?

Онъ заблуждался, — теперь онъ нашъ. Забудемъ прошлое...

Послѣ Рейснеръ — Городецкій, встряхнувъ кудрями и окинувъ аудиторію милыми, добрыми, сѣрыми глазами, — читалъ стихи о третьемъ интернаціоналѣ.

Гумилевъ сказалъ, пожимая плечами:

— Въ самомъ дѣлѣ, какъ въ него бросишь камнемъ? Мы же эту его невмѣняемость поощряли, за нее, въ сущности, и любили его. Вѣдь, не за стихи же? Вотъ онъ и продолжаетъ играть въ пятнашки...

Только, — прибавилъ онъ, — теперь я вижу, — Богъ съ ней, съ этой дѣтскостью. Потерялъ я къ ней вкусъ. Лучше ужъ жить съ обыкновенными, незабавными... отвѣчающими за себя людьми.

***

Передъ отъѣздомъ заграницу, осенью 1922 года, я былъ въ Москвѣ. Въ табачной лавкѣ кто-то хлопнулъ меня по плечу, — Городецкій.

Такой же, какъ былъ. Такъ же мило смотритъ, такъ же улыбается.

— А я, — улыбка расплывается и становится ребяческой, — а я, кто-бъ могъ думать, на старости лѣтъ, — курителемъ сталъ... Скажите, что «Баядерка», хорошія папиросы?..

Собирая сдачу, онъ опять, словно вдругъ вспомнивъ, ко мнѣ обернулся. Теперь его сѣрые глаза смотрѣли грустно и «душевно»:

— А бѣдный Гумилевъ!.. Такое несчастье...

Я промолчалъ.

VIII

Въ седьмомъ часу утра лица тѣхъ, кто еще оставался сидѣть въ «Бродячей Собакѣ», дѣлались похожи на лица мертвецовъ. Яркій электрическій свѣтъ, пестро раскрашенныя стѣны, объѣдки и пустыя бутылки на столахъ и на полу. Пьяный поэтъ читаетъ стихи, которыхъ никто не слушаетъ, пьяный музыкантъ невѣрными шагами подходитъ къ засыпанному окурками роялю и ударяетъ по клавишамъ, чтобы сыграть похоронный маршъ, или польку, или то и другое разомъ. Сонный вѣшальщикъ спитъ, забывъ довѣренныя ему шубы. Директоръ «Собаки» — Борисъ Пронинъ, сидитъ на ступенькахъ узкой лѣстнички выхода, засыпанныхъ снѣгомъ, гладитъ свою лохматую злую собаченку Мушку и горько плачетъ:

Мушка, Мушка, — зачѣмъ ты съѣла своихъ дѣтей!..

Лица похожи на лица мертвецовъ. Кто спитъ, кто притворяется оживленнымъ. Но какое ужъ тамъ оживленіе...

Кто-то выключилъ электричество въ залѣ. Теперь освѣщена только сосѣдняя буфетная, и изъ двери, открытой на лѣстницу, на ступенькахъ которой плачетъ Пронинъ, падаетъ узкая сѣрая полоса разсвѣта. Въ этомъ сумракѣ изъ угла выходитъ человѣкъ и, покачиваясь, идетъ ко мнѣ. Подходитъ. Смотритъ. У него — кажется — рыжіе волосы и тяжелый пристальный взглядъ. Я не знаю, кто онъ, вижу впервые.

— Вы сидите одинъ, и я одинъ. Давайте сидѣть вмѣстѣ.

Давайте, — говорю я.

Пьяны?

Ничуть.

А я вотъ пьянъ. Но это ничего. Это даже хорошо. Но вы, если не пьяны, зачѣмъ здѣсь сидите? Ждете трамвая?

Поѣзда. Въ Гатчино.

Поѣзда. . . Въ Гатчино. . . — Повторяетъ, мечтательно, человѣкъ. — Гатчино. . . Поѣздъ подходитъ. . . Снѣгъ. Бѣлый. Нѣтъ. — Синій. Все въ снѣгу. Встаетъ солнце. Блескъ — больно смотрѣть. . . Какія-нибудь молочницы плетутся. . . Паръ. Деревья въ инеѣ. . .

Онъ зѣваетъ. — Впрочемъ, все это чепуха. Воняетъ сажей, какъ и здѣсь. И зачѣмъ, скажите пожалуйста, вы живете въ Гатчино?

Я сказалъ, что ничуть не пьянъ. Но это неправда. Я пьянъ немножко. Я не знаю, кто мой собесѣдникъ. И какое ему дѣло, гдѣ я живу? Но, такъ какъ я не совсѣмъ трезвъ, его вопросъ меня не удивляетъ. Я не отвѣчаю — «живу потому, что нравится», или «тамъ суше воздухъ», — я говорю ему правду. Я переѣхалъ въ Гатчино потому, что влюбленъ, и та, въ которую я влюбленъ, живетъ тамъ. Мой собесѣдникъ слушаетъ молча, дымя короткой трубкой. Онъ меня не перебиваетъ — и я говорю, повторяя то, что онъ только что мнѣ говорилъ — о снѣгѣ и встающемъ солнцѣ. Ну да, — я немножко пьянъ. Но это ничего, это даже хорошо. Я выбалтываю незнакомому, молча дымя короткой трубкой. Онъ меня не перебиваетъ, человѣку, о которомъ знаю только, что онъ куритъ трубку, — выбалтываю все, вплоть до того, что «она мнѣ вчера сказала», вплоть до любовныхъ стиховъ, позавчера сочиненныхъ:

Закатъ золотой. Снѣга
Залилъ янтарь.
Мнѣ Гатчина дорога,
Совсѣмъ какъ встарь. . .

Я выбалтываю все. Потомъ мнѣ становится неловко. Я

обрываю фразу, не кончивъ. Человѣкъ съ трубкой молчитъ. Потомъ говоритъ съ разстановкой:

— Самое лучшее кончать съ собой на разсвѣтѣ. Понятно, если не ядъ. Ядъ противно пить утромъ — все существо содрогается. Такъ ужъ человѣкъ устроенъ. Вы рѣшили умереть. Чтобы умереть, вамъ необходимо проглотить рюмку жидкости или облатку. Но вы одно, а вашъ животъ другое. Онъ не желаетъ умирать. Онъ сопротивляется. Онъ хочетъ глотать не стрихнинъ, а кофе со сливками... Но стрѣляться на разсвѣтѣ очень легко, я бы сказалъ, весело.

Вѣшаться тоже весело? — поддерживаю я разговоръ.

Вѣшаться нельзя весело, — отвѣчаетъ онъ серьезно, — вѣшаться надо торжественно. Конечно, если на-спѣхъ, на собственныхъ подтяжкахъ, какъ проворовавшійся подмастерье... Но, представьте, — вы дѣлаете все медленно и методично. Шелковый шнурокъ хорошо намыленъ. Крюкъ прочно вбитъ. Петля тщательно завязана. Можно прочесть молитву, выкурить послѣднюю папиросу, выпить послѣдній глотокъ коньяку. Палачъ торопитъ — довольно — къ дѣлу. Вы не спорите — безполезно. Вы надѣваете петлю... — Какъ хороша жизнь!.. Я не хочу!.. — Это вашъ животъ, легкія, мускулы сопротивляются. . . Но мозгъ, палачъ, безпощаденъ. — Поговори еще у меня! Трахъ! Стулъ, вышибленный изъ-подъ ногъ, катится въ уголъ. Прощайте, господинъ Лозина-Лозинскій... Прощайте, неудачный поэтъ Любяръ!..

Тутъ мнѣ дѣлается непріятно. Я знаю, что Любяръ — псевдонимъ поэта, коотрый нѣсколько разъ неудачно кончалъ съ собой и, наконецъ, недавно, покончилъ. Я читалъ его стихи, то безсмысленные, то ясные, даже слишкомъ, съ какимъ-то оттѣнкомъ сумасшествія. Во всякомъ случаѣ, талантливые стихи. Упоминаніе его имени мнѣ непріятно. Зачѣмъ тревожить память мертваго? Я говорю это вслухъ.

— Предразсудки, — зѣваетъ мой собесѣдникъ. — Почему можно говорить непочтительно о Петрѣ Петровичѣ, пока онъ живъ, и нельзя, если онъ умеръ. Чепуха. И потомъ...

Онъ не договариваетъ, что потомъ. — Ну, мнѣ пора, да

и вамъ, господинъ влюбленный. Садитесь на извозчика, потомъ въ поѣздъ — солнце, снѣгъ... Она сладко спитъ...

Не буди ее въ тусклую рань
Поцѣлуемъ дремоту согрѣй...

Впрочемъ, это къ вашему случаю не относится. Анненскій всѣ эти поцѣлуи на чистоту не принималъ. Онъ зналъ, что они значатъ...

— Что же они значатъ? — спрашиваю я, разыскивая шубу. Онъ молчитъ. Я не повторяю вопроса. У подъѣзда нѣсколько извозчиковъ. Мой собесѣдникъ садится въ перваго изъ нихъ.

— Ну, до свиданія.

— Постой, — осаживаетъ онъ тронувшагося было извозчика. — Послушайте, можетъ быть, позвоните мнѣ какъ нибудь? вотъ моя карточка. Буду очень радъ, очень радъ... А насчетъ поцѣлуевъ Анненскій, повѣрьте, зналъ и всегда помнилъ, — оскаленныя зубки, вытекшіе глазки, расползающіяся щечки... Трогай!..

Прозябшая лошадь рѣзво уноситъ сани. Я смотрю на визитную карточку: А. Любяръ... Лозино-Лозинскій... такая-то улица...

***

Мѣсяца черезъ два я получилъ повѣстку общества «Мѣдный Всадникъ» на засѣданіе памяти поэта Любяра. На этотъ разъ (недѣли черезъ три послѣ нашей встрѣчи) самоубійца-неудачникъ своего добился.

Вечеръ былъ нелѣпый. Въ огромномъ модернизованномъ кабинетѣ профессора С. собрались человѣкъ тридцать. Былъ чей-то скучный докладъ. Потомъ М. Лозинскій читалъ стихи Любяра, читалъ онъ, какъ всегда прекрасно, но послѣ чтенія вышла глупая путаница съ какимъ-то студентомъ, предложившимъ выразить сочувствіе «брату покойнаго и великолѣпному чтецу его произведеній», который, на самомъ дѣлѣ, былъ лишь

однофамильцемъ, никогда не видавшимъ покойнаго въ глаза. Хозяинъ профессоръ, чтобы загладить впечатлѣніе... выпустилъ Яворскую читать сонеты его собственнаго сочиненія, посвященные разнымъ поэтамъ. Когда Яворская съ актерскимъ пафосомъ закончила сонетъ, посвященный Кузмину:

и юноши нагіе,
Стыдливость позабывъ, скрываются въ альковъ...

кто-то свистнулъ. Профессоръ покраснѣлъ, какъ буракъ. Воцарилась еще большая неловкость..

Стали разносить чай. Всѣ пили молча, молча-же жуя птифуры. Одинъ молодой человѣкъ, желая развеселить общество, вздумалъ пѣть, подыгрывая на роялѣ, армянскіе куплеты:

Какъ въ Тифлисѣ у меня,
Былъ одинъ товарищъ,
Очень славный человѣкъ,
Только очень глупъ.

Ларисса Райснеръ, тогда еще почти дѣвочка, слушала, слушала, потомъ встала, топнула ногой и раскричалась, что все это мерзко, недостойно, что она пришла на вечеръ памяти поэта, а ее угощаютъ пошлостями.

Всѣ разбирали шапки, торопясь поскорѣй убраться. Хозяинъ провожалъ гостей, багровый отъ конфуза. Его почтенная борода тряслась и руки дрожали.

Вечеръ былъ безобразный, что и говорить. Но шагая домой черезъ Троицкій мостъ, я вспоминалъ усмѣшечку моего недавняго ночного собесѣдника, и мнѣ казалось, что, можетъ быть, именно такими поминками былъ-бы доволенъ этотъ несчастный человѣкъ.



Пятнадцати лѣтъ, поэтъ С. поступилъ мальчикомъ разсыльнымъ въ одно крупное петербургское коммерческое предпріятіе. Въ двадцать пять лѣтъ онъ былъ однимъ изъ его ди-

ректоровъ, прочелъ по итальянски, французски, нѣмецки и гречески все, что можно было на этихъ языкахъ прочесть, былъ другомъ Вячеслава Иванова и носилъ матовый цилиндръ на удивленіе петербуржцамъ.

Весной 1911 года я зашелъ въ редакцію «Гаудеамуса», эстетическаго студенческаго журнала. Тамъ печатала свои первые стихи начинающая поэтесса Ахматова, печаталъ, въ числѣ многихъ другихъ поэтовъ, и я. Впрочемъ, не впервые. Журналъ, гдѣ я впервые «испыталъ счастье» видѣть себя въ печати, — назывался пышнѣй, — «Всѣ новости литературы, искусства, техники, промышленности и гипноза».

Послѣ этихъ «новостей гипноза» «Гаудеамусъ» казался мнѣ «храмомъ поэзіи». Редактировалъ его Вл. Нарбутъ, впослѣдствіи авторъ книги «Алилуйя», отпечатанной въ синодальной типографіи церковно-славянскимъ шрифтомъ и немедленно по выходѣ сожженной за порнографію.

Въ числѣ «надеждъ» «Гаудеамуса» называли поэта С. Его стихи всѣ хвалили, о немъ самомъ никто толкомъ ничего не зналъ, — въ редакцію С. показывался очень рѣдко и мелькомъ.

Я пришелъ въ «Гаудеамусъ» неудачно. Не было ни Нарбута, ни секретаря, ни посѣтителей. Это было досадно. Я хотѣлъ, если ужъ не узнать о судьбѣ новой партіи моихъ стиховъ, то, по крайней мѣрѣ, наговориться вдоволь на литературныя темы.

Въ пріемной сидѣлъ только одинъ посѣтитель, мнѣ незнакомый. Онъ съ любопытствомъ посмотрѣлъ на мой кадетскій мундиръ, я съ почтеніемъ (можетъ быть, это Сологубъ, — кто его знаетъ), на краснощекаго господина въ визиткѣ и съ онѣгинскими баками.

Я сѣлъ въ уголъ и сталъ что-то читать. Нарбутъ не приходилъ. Я послонялся по всѣмъ комнатамъ редакціи — никого. Въ передней висѣлъ телефонъ. Что-жъ — хоть позвоню секретарю.

Секретаря не было дома. На вопросъ, кто звонитъ, я сказалъ мою фамилію, повѣсилъ трубку и пошелъ въ пріемную за шинелью.

— Позвольте узнать, — спросилъ меня краснощекій господинъ съ баками, — вы авторъ стиховъ въ прошломъ №?

Я подтвердилъ, что я.

— Вотъ какъ пріятно. Я какъ разъ хотѣлъ просить Нарбута насъ познакомить. Я — С...

. . . .

Я уже теперь не помню, какъ у насъ пошла дружба, о чемъ мы вели безконечные разговоры и лѣтомъ писали другъ другу письма на десяти страницахъ. О поэзіи, главнымъ образомъ, конечно. Но ко всѣмъ разговорамъ и письмамъ С., самымъ обыденнымъ, примѣшивалась какая-то тѣнь тайны, которую онъ, казалось, не могъ мнѣ, какъ непосвященному, открыть. Эту «мистику», исходившую отъ С., я почувствовалъ чуть-ли не съ нашей первой встрѣчи, хотя ни въ наружности, ни въ характерѣ С. тоже ничего таинственнаго не было. Человѣкъ онъ былъ разсчетливый, трудолюбивый, положительный. Если Россія когда-нибудь дѣйствительно будетъ крестьянской республикой, такіе, должно быть, будутъ въ ней министры и по внѣшности и по складу ума. Визитка отъ Калина — визиткой, и Эсхилъ въ подлинникѣ — Эсхиломъ, но это такъ, посторонне, форма. Главное же, «свое», съ Волги, гдѣ и купцовъ рубятъ топоромъ и спасаются въ скитахъ и продаютъ (вотъ те крестъ!) тухлую рыбу съ барышемъ. Все это было собрано въ С., какъ въ фокусѣ, хоть держался онъ европейцемъ, порой даже утрируя.

Иногда онъ велъ странные разговоры.

— Ты дворянинъ?

— Дворянинъ. А что?

— А вотъ я мужикъ. Дѣдъ крѣпостнымъ былъ.

— Ну, такъ что-жъ, ты вѣдь не крѣпостной.

Молчаніе. — Тебѣ не понять этого.

— Чего же?

— Важности для меня быть дворининомъ.

— Дѣйствительно, не понимаю.

— Видишь ли. Вотъ ты дворянинъ и, значитъ, имѣешь

гербъ и пятизначную корону. Тебѣ это не нужно, и гербъ у тебя дурацкій, сочиненный писаремъ въ департаментѣ геральдики — какой нибудь лафетъ и куча ядеръ... А вотъ есть люди, которымъ данъ гербъ съ тремя лиліями и соломоновой звѣздой, данъ Господиномъ за доблесть и подвигъ, — и такой гербъ надо таить отъ всѣхъ, потому что онъ лишенъ правъ, которыя всякій отставной генералъ имѣетъ.

— Это не тебѣ-ли данъ гербъ съ соломоновой звѣздой?

— Можетъ быть, и мнѣ.

— Кѣмъ-же?

— Этого я тебѣ сказать не могу.

— Хочешь, я тебя усыновлю, вотъ ты и украсишь моей короной свой замѣчательный гербъ?!.

С., усмѣхаясь, переводитъ разговоръ и больше отъ него ничего нельзя добиться.

***

Не знаю, что влекло С. ко мнѣ, но меня, хотя я слабо отдавалъ себѣ въ этомъ отчетъ, — въ немъ влекла именно эта недоговоренность. Я былъ очень молодъ, и все таинственное меня очень занимало. Свои недомолвки и намеки С. «подавалъ» очень серьезно, и я, не безъ основанія, подозрѣвалъ, что онъ не только директорствуетъ въ своей фирмѣ и пишетъ стихи, но ведетъ еще какую-то другую загадочную жизнь. Недавно я съ упоеніемъ прочелъ Гюисманса и порой задумывался, не дьяволопоклонникъ ли мой другъ...

Разъ я пришелъ къ нему на Каменноостровскій, невзначай, довольно поздно вечеромъ. Я долго напрасно звонилъ у двери его квартиры и собирался уже уходить, когда въ передней послышались шаги. Открылъ мнѣ самъ С. Онъ былъ во фракѣ, блѣднѣе обыкновеннаго. Посмотрѣлъ онъ на меня какъ-то странно.

— Ты... вотъ не ждалъ. Подожди минутку. Я сейчасъ освобожусь.

Я понялъ, что попалъ некстати, и хотѣлъ откланяться.

— Нѣтъ, ничего, напротивъ, я очень радъ. Посиди здѣсь

минуту. — Онъ втолкнулъ меня въ гостиную и притворилъ дверь.

Я посидѣлъ съ четверть часа, — мнѣ стало скучно. Я приоткрылъ дверь въ сосѣднюю комнату — столовую — и чуть не ахнулъ. Столъ былъ накрытъ необычайно богато, — я никогда не думалъ, что у С. такое множество дорогой посуды, — какихъ-то вызолоченыхъ блюдъ, кубковъ, графиновъ. На столѣ стоялъ большой канделябръ съ оплывающими красными восковыми свѣчами. Столъ былъ накрытъ, но ѣды никакой не было видно, только на золотомъ чеканномъ блюдѣ лежало нѣсколько кусковъ чернаго хлѣба и въ двухъ желтыхъ бокалахъ немного воды или вина. Я съ удивленіемъ разсматривалъ всѣ эти странныя богатства. На всѣхъ вещахъ былъ выгравированъ гербъ со звѣздой и лиліями и безъ короны. Я хотѣлъ было приподнять крышку какого-то блюда, чтобы посмотрѣть, что тамъ есть, какъ вдругъ ступени лѣстницы на антресоль, гдѣ былъ кабинетъ С., заскрипѣли. Любопытство посмотрѣть на даму С. (что онъ принималъ даму, я не сомнѣвался), — было слишкомъ сильно. Я нагнулся къ замочной скважинѣ. На мое счастье, ключа въ ней не было.

... С. подавалъ шубу маленькому худому старичку съ длинной, совершенно бѣлой бородой. С. подалъ ему шубу, потомъ самъ надѣлъ ему ботики, подалъ шапку и палку и низко, почти до земли, поклонился. Старичокъ сдѣлалъ благословляющій жестъ и протянулъ руку. С. ее поцѣловалъ. Они вышли вмѣстѣ. Должно быть, С. провожалъ своего гостя до улицы...

Когда онъ вернулся, вѣроятно, по моему лицу было видно, что я подсмотрѣлъ. С. подошелъ ко мнѣ, взялъ за руку и крѣпко сжалъ.

— Я тебѣ другъ и, какъ друга, прошу никогда меня не разспрашивать, если ты что нибудь видѣлъ или слышалъ. Все равно я тебѣ никогда ничего не могу разсказать. Приходи ко мнѣ, пожалуйста, завтра или когда хочешь. Сегодня я нездоровъ... Извини меня...

На другой день я, оставивъ въ сторонѣ торжественныя обѣщанія, присталъ къ С., что называется, съ ножомъ къ горлу. Онъ только отшучивался въ своей обычной манерѣ.

— Ну, да, — у меня была дама.
— Съ сѣдыми волосами!
— Напротивъ, съ черными... Испанка.
— Я видѣлъ...
— Значитъ, плохо видѣлъ.
— А золотая посуда съ гербами?
— Не золотая, а серебряная и безъ гербовъ... — и онъ показалъ мнѣ какую-то нюренбергскую кружку. — Ну, полно говорить о глупостяхъ. Ты будешь завтра въ балетѣ?..
Любопытство мое такъ и осталось неудовлетвореннымъ.



Съ годами дружба моя съ С. нѣсколько охладѣла. Таинственность его перестала меня занимать, — да и съ того страннаго вечера онъ, кажется, ни разу больше не обмолвился ничѣмъ загадочнымъ. Литературные интересы тоже насъ не связывали, — дороги наши пошли въ разныя стороны.

Все-же мы встрѣчались и даже переписывались порой. Въ концѣ мая 1914 г. я написалъ С. изъ деревни, прося его выслать мнѣ какія-то книги. Зная, что онъ собирается заграницу, я желалъ ему счастливаго пути. Въ отвѣтномъ письмѣ было: — «Заграницу я не ѣду. Опоздалъ. Теперь скоро будетъ война во всемъ мірѣ и лѣтъ на десять»...

«Что за чушь ты пишешь, какая война»? — спрашивалъ я, но не получилъ отвѣта. — С. уѣхалъ изъ Петербурга на Кавказъ.

Началась война. Предсказаніе С. пришло мнѣ на память. Я разыскалъ его. — Откуда ты зналъ, что будетъ война? — было первымъ моимъ вопросомъ при встрѣчѣ.

— Откуда? Самъ не знаю... Приснилось... Почудилось.
— Ты бы могъ зарабатывать хорошія деньги предсказаніями, какъ мадамъ Тэбъ.
— Какъ мадамъ Тэбъ? Это и ты бы могъ. Она въ этихъ дѣлахъ полная невѣжда.

**
*

Послѣдняя наша встрѣча была странной. Былъ 1918 годъ. Я шелъ по Карповкѣ вечеромъ. Было темно и пусто. Навстрѣчу мнѣ попался человѣкъ. Шелъ онъ какъ-то покачиваясь, шляпа его была на затылкѣ. Поровнявшись, я узналъ С.

Я ему очень обрадовался, онъ, кажется, тоже. — Гдѣ ты пропадалъ? — спросилъ я. — Все время здѣсь, въ Петербургѣ. — Что-жъ тебя нигдѣ не было видно? — Онъ покачалъ головой неопредѣленно. — Такъ... гдѣ же теперь видѣться... Зайдемъ ко мнѣ, потолкуемъ, хочешь? Я здѣсь теперь живу.

Домъ былъ очень роскошный, но швейцара не было, лифтъ не дѣйствовалъ, электричество не горѣло. Мы поднялись на третій этажъ. С., не раздѣваясь, велъ меня черезъ какія-то неосвѣщенныя комнаты. Иногда онъ чиркалъ спичкой, и видны были зеркала, огромныя вазы, картины, стекляшки старинныхъ люстръ. Квартира была, повидимому, очень большой и пышно обставленной. Холодъ стоялъ нестерпимый. Наконецъ, — рѣзкая перемѣна температуры — каминъ, полный пылающихъ полѣньевъ. С. зажегъ свѣчи въ большомъ канделябрѣ. Я сразу узналъ его, — это былъ т о т ъ с а м ы й канделябръ...

— Узнаешь? — спросилъ С., съ улыбкой, точно угадавъ мои мысли.

Онъ снялъ свое потертое пальто. Въ пиджакѣ онъ имѣлъ прежній видъ, развѣ немного похудѣлъ.

— Хочешь чаю? Или вина, — у меня есть.

— Почему ты спросилъ «узнаешь»?

— Такъ вѣдь ты узналъ канделябръ. Зачѣмъ ломаться?

— Узналъ. И, разъ ты самъ объ этомъ заговорилъ, — можетъ быть, ты теперь мнѣ разскажешь, что все это значило?..

— Ну, что тамъ разсказывать. — С. помолчалъ. — П о к а з а т ь тебѣ, если хочешь, могу кое-что. А разсказывать нечего. Да ты и не поймешь, все равно...

Мы выпили подогрѣтаго Нюи. Разговоръ нашъ какъ-то не

выходилъ. Поговорили о большевикахъ, о томъ, что нѣтъ хлѣба, о стихахъ, — обо всемъ одинаково вяло.

— Что же ты хочешь мнѣ показать? — спросилъ я.

— А... ты объ этомъ? Стоитъ-ли? Во-первыхъ — чепуха, я убѣдился. Да и ты мальчикъ нервный, еще испугаешься.

— Что за страхи? Ты меня мистифицируешь! Показывай, разъ обѣщалъ.

— Ну, изволь. Только уговоръ — объясненій не требовать.

С. досталъ изъ ящика бюро простую глиняную миску. Потомъ вышелъ, вернулся съ кувшиномъ воды и налилъ миску до краевъ. Потушилъ всѣ свѣчи. Каминъ ярко горѣлъ.

— Ну, — С. взялъ меня крѣпко за локоть, — гляди.

— Куда?

— Въ воду гляди...

Я съ недовѣріемъ сталъ глядѣть въ воду. Вода, какъ вода. Онъ меня морочитъ. Я хотѣлъ это сказать, но вдругъ мнѣ показалось, что на днѣ миски мелькнуло что-то вродѣ золотой рыбки. С. крѣпче сжалъ мой локоть. — Гляди! — Въ водѣ снова что-то мелькнуло, потомъ, какъ на матовомъ стеклѣ фотографическаго аппарата, обрисовались какія-то очертанія, сначала неясно, потомъ отчетливѣй... Я вздрогнулъ. — Это столовая С. въ его старой квартирѣ. Столъ накрытъ, какъ въ тотъ вечеръ, — золотая посуда, цвѣты, канделябръ съ оплывшими свѣчами. И я стою въ дверяхъ, подхожу къ столу, осматриваюсь, трогаю крышку блюда...

... Рѣзкій свѣтъ, и все пропало. Это электрическая станція на радость (и на безпокойство — вдругъ обыскъ) совѣтскимъ гражданамъ включила токъ. Огромная люстра на потолкѣ засіяла всѣми свѣчами.

— Тсс... — остановилъ меня С. — Помни уговоръ. Потерпи. Другой разъ я покажу тебѣ что-нибудь поинтереснѣе.

Но не только что-нибудь «поинтереснѣе», но и самаго С. мнѣ увидать не удалось. Черезъ два дня я получилъ отъ него записку: — «Не приходи ко мнѣ, у меня на квартирѣ засада, изъ Петербурга приходится удирать»...

IX

Между Петербургомъ и Москвой отъ вѣка шла вражда. Петербуржцы высмѣивали «Собачью площадку» и «Мертвый переулокъ», москвичи попрекали Петербургъ чопорностью, несвойственной «русской душѣ». Враждовали обыватели, враждовали и дѣятели искусствъ обѣихъ столицъ.

Въ 1919 году, въ упоху увлеченія электрофикаціей и другими великими планами, одинъ поэтъ предложилъ совѣтскому правительству проектъ объединенія столицъ въ одну. Проектъ былъ простъ. Запретить въ Петербургѣ и Москвѣ строить дома иначе, какъ по линіи Николаевской желѣзной дороги. Черезъ десять лѣтъ, по разсчету изобрѣтателя, оба города должны соединиться въ одинъ — Петросква, съ центральной улицей — Куз-невскій мос-пектъ. Проектъ не удалось провести въ жизнь изъ-за пустяка: ни въ Петербургѣ, ни въ Москвѣ никто ничего не строилъ — всѣ ломали. А жаль! Можетъ быть, это объединеніе положило бы конецъ двухвѣковымъ раздорамъ.

***

Лубочный, но пышный расцвѣтъ Москвы временъ символизма пришелъ къ концу — «Вѣсы» закрылись.

«Торжествующая реакція» основала петербургскій «Аполлонъ», и Георгій Чулковъ протанцовалъ въ немъ каннибальскій танецъ надъ трупомъ врага («О Вѣсахъ»). Безработные мо-

сковскіе «звѣзды» изъ второстепенныхъ, волей неволей, стали навѣдываться въ Петербургъ. Кто просто искалъ заработка, кто собирался «взрывать врага изнутри», дѣлать заговоры и основывать новыя школы.

* * *

Однажды я попалъ на такое заговорщицкое собраніе. К., молодой человѣкъ, писавшій стихи, отвелъ меня гдѣ-то въ сторону и таинственно сказалъ, что со мной очень хочетъ познакомиться Борисъ Садовской. Я былъ польщенъ. Мнѣ было лѣтъ восемнадцать, и я не былъ особенно избалованъ славой. Правда, нѣсколько дней тому назадъ въ «Бродячей Собакѣ» какой-то господинъ буржуазнаго вида представился мнѣ, какъ мой горячій поклонникъ, но, когда на его замѣчаніе «вы такой молодой и уже такой знаменитый», я, съ притворной скромностью, возразилъ — «Ну, какой-же я знаменитый», — онъ съ пафосомъ воскликнулъ: «помилуйте, кто-же не знаетъ Вячеслава Иванова»!..

Итакъ, — я былъ польщенъ и отвѣтилъ К., что очень радъ, въ свою очередь, познакомиться съ Садовскимъ. К. радостно закивалъ. «Вотъ и прекрасно. Приходите къ нему завтра вечеромъ — я его предупрежу».



Извозчикъ подвезъ меня къ мрачному дому на Коломенской улицѣ. На облѣзлой вывѣскѣ надъ подъѣздомъ значилось — «меблированныя комнаты» — не то «Тулонъ», не то «Марсель». Что-то средиземное, во всякомъ случаѣ. Съ опаской я поднялся по мрачной лѣстницѣ. Босой корридорный несъ кипящій самоваръ. Я спросилъ его о Садовскомъ. «Пожалуйте за мной, — какъ разъ имъ самоварчикъ подаю».

Толкнувъ колѣномъ дверь, онъ, безъ стука, вошелъ въ комнату, обдавая меня, шедшаго сзади, чадомъ. Такъ, предшествуемый корридорнымъ съ самоваромъ, я впервые — не

знаменательно-ли! — вошелъ къ поэту, который назвалъ именемъ этой машины для приготовленія чая одну изъ своихъ книгъ:

Если-бъ кончить съ жизнью тяжкой,
У родного самовара,
За фарфоровою чашкой,
Тихой смертью отъ угара.

***

Я рисовалъ себѣ это свиданіе нѣсколько иначе. Я думалъ, что меня встрѣтитъ благообразный господинъ, на всей наружности котораго отпечатлѣна его профессія — поэта символиста. Ну, что-нибудь вродѣ Чулкова или Рукавишникова. Онъ встанетъ съ глубокаго кресла, отложитъ въ сторону томъ Метерлинка и, откинувъ со лба поэтическую прядь, протянетъ мнѣ руку. «Здравствуйте. Я радъ. Вы одинъ изъ немногихъ, сумѣвшихъ заглянуть подъ покрывало Изиды»...

... Въ узкомъ и длинномъ «номерѣ» толпилось человѣкъ двадцать поэтовъ — все изъ самой зеленой молодежи. Нѣкоторыхъ я зналъ, нѣкоторыхъ видѣлъ впервые. Густой табачный дымъ застилалъ лица и вещи. Стоялъ страшный шумъ. На кровати, развалясь, сидѣлъ тощій человѣкъ, плѣшивый, съ желтымъ потасканнымъ лицомъ. Маленькіе ядовитые глазки его подмигивали, рука ухарски ударяла по гитарѣ. Дрожащимъ фальцетомъ онъ пѣлъ:

Русскаго царя солдаты
Рады жертвовать собой,
Не изъ денегъ, не изъ платы,
Но за честь страны родной.

На немъ былъ разстегнутый... дворянскій мундиръ съ блестящими пуговицами и голубая шелковая косоворотка. Маленькая подагрическая ножка лихо отбивала тактъ...

Я стоялъ въ недоумѣніи — туда-ли я попалъ. И даже если туда, все-таки, не уйти-ли? Но мой знакомый К. уже замѣтилъ меня и что-то сказалъ игравшему на гитарѣ. Ядовитые глазки впились въ меня съ любопытствомъ. Пѣніе прекратилось.

— Иванôвъ! — громко прогнусавилъ хозяинъ дома, дѣлая удареніе на о. — Добро пожаловать, Иванôвъ! Водку пьете? Икру — съѣли, не надо опаздывать! Наверстывайте — сейчасъ жженку будемъ варить!..

Онъ сдѣлалъ приглашающій жестъ въ сторону стола, уставленнаго всевозможными бутылками, и снова запѣлъ:

Эхъ, ты, водка,
Гусарская тетка!
Эхъ, ты, жженка,
Гусарская женка!..

— Подтягивай, ребята! — вдругъ закричалъ онъ, уже совершенно пѣтухомъ. — Пей, дворянство россійское! Урра! Съ нами Богъ!..

Я оглядѣлся. — «Дворянство россійское» было пьяно, пьянъ былъ и хозяинъ. Варили жженку, проливая горящій спиртъ на коверъ, читали стихи, пѣли, подтягивали, пили, кричали «ура», обнимались. Не долго былъ трезвымъ и я. — «Иванôвъ не пьетъ. Кубокъ Большого Орла ему!» — распорядился Садовской. Отдѣлаться было невозможно. Чайный стаканъ какой-то страшной смѣси сразу измѣнилъ мое настроеніе. Компанія показалась мнѣ премилой и начальственно-пріятельскій тонъ хозяина — вполнѣ естественнымъ.

... Табачный дымъ становился все сильнѣе. Стаканы все чаще падали изъ рукъ, съ дребезгомъ разбиваясь. Какъ сквозь сонъ, помню надменно-деревянныя черты Николая I, глядящія со всѣхъ стѣнъ, мундиръ Садовскаго, залитый виномъ, его сухой, желтый палецъ, поднесенный къ моему лицу, и наставительный шопотъ:

— Пьянство есть совокупленіе астрала нашего существа съ музыкой (удареніе на ы) міозданія...

**
*

Та-же комната. Тотъ-же голосъ. Тѣ-же пронзительно ядовитые глазки подъ плѣшивымъ лбомъ. Но въ комнатѣ чинный порядокъ, и фальцетъ Садовскаго звучитъ чопорно-любезно. Въ черномъ долгополомъ сюртукѣ онъ больше похожъ на псаломщика, чѣмъ на забулдыгу-гусара.

На стѣнахъ, на столѣ, у кровати — всюду портреты Николая I. Ихъ штукъ десять. На конѣ, въ профиль, въ шинели, опять на конѣ. Я смотрю съ удивленіемъ.

— Сей мужъ, — поясняетъ Садовской, — былъ величайшимъ изъ государей, не токмо россійскихъ, но и всего свѣта. Вотъ сынокъ, — мѣняетъ онъ выспренній тонъ на старушечій говоръ, — сынокъ былъ гусь неважный. Экую мерзость выкинулъ — хамовъ освободилъ. Хамъ его и укокошилъ...

Среди портретовъ всѣхъ русскихъ царей отъ Михаила Федоровича, развѣшанныхъ и разставленныхъ по всѣмъ угламъ комнаты — портрета Александра II нѣтъ.

— Въ домѣ дворянина Садовского ему не мѣсто.

— Но, вѣдь, вы въ Петербургѣ недавно. Что же, вы всегда возите съ собой эти портреты?

— Вожу-съ.

— Куда бы ни ѣхали?

— Хоть въ Сибирь. Всѣхъ — это когда ѣду надолго, ну, мѣсяца на два. Ну, а на недѣлю, тогда беру только Николая Павловича, Александра Благословеннаго, Матушку Екатерину, Петра. Ну, еще Елизавету Петровну — царица она, правда, была такъ себѣ, — зато ужъ физикой хороша. Купчиха! Люблю!..

Садовскій излагаетъ свои «идеи», впиваясь въ собесѣдника острыми глазами: принимаетъ ли всерьезъ. Мнѣ уже успѣли разсказать, что крѣпостничество и дворянство напускныя, и я въ серьезъ не принимаю.

Острые глазки смотрятъ пронзительно и лукаво. «..Священная миссія высшаго сословія...» Онъ обрываетъ фразу,

не окончивъ. — Впрочемъ, ну все это къ черту. Давайте говорить о стихахъ!..

— Давайте.

***

Борисъ Садовской былъ слабый поэтъ. Вѣрнѣе, онъ поэтомъ не былъ. Отъ русскаго поэта у него было только одно качество — лѣнь. Лѣнь помѣшала ему заняться его прямымъ дѣломъ — стать критикомъ.

Если имя Садовскаго еще помнятъ за его блѣдно-аккуратные стихи — статьи его забыты всѣми. Несправедливо забыты. Двѣ книжки Садовского «Озимь» и «Ледоходъ», право, стоятъ многихъ «почтенныхъ» критическихъ трудовъ.

«Цѣпная собака Вѣсовъ» звали Садовскаго литературные враги — и не безъ основанія. Списокъ ругательствъ, часто непечатныхъ, кѣмъ-то выбранный изъ его рецензій, занялъ полстраницы петита.

Но, за ругательствами — былъ острый умъ и пониманіе стиховъ насквозь и до конца. За полемикой, счетами, дворянскими придурями, блаженной паматью Николая I, были страницы вполнѣ замѣчательныя.

Кстати, карьера Садовского примѣръ того, какъ опасно писателю держаться въ гордомъ одиночествѣ. Сидѣть въ своемъ углу и писать стихи — еще куда ни шло. Но Садовской, когда его связь — случайная и непрочная, — съ московскими «декадентами» оборвалась, попытался «поплыть противъ теченія», подавая «свободный гласъ» изъ своего «хутора Борисовка, Садовской тожъ». И его съѣли безъ остатка.

Выходъ «Озими» и «Ледохода» былъ встрѣченъ общимъ улюлюканіемъ. На свою бѣду, Садовской остроумно обмолвился — о поэзіи по прусскому образцу съ Брюсовымъ - Вильгельмомъ, Гумилевымъ - Кронпринцемъ и лейтенантами. «Гумилевъ льетъ свою кровь на фронтѣ и мы не позволимъ»... билъ себя въ грудь Ауслендеръ. «Мы не позволимъ», билъ за нимъ въ грудь Городецкій. Время было военное — Садовскому пришлось плохо. За «оскорбленнымъ» Гумилевымъ никто

не прочелъ и не оцѣнилъ хотя бы удивительной статьи о Лермонтовѣ, можетъ быть, лучшей въ нашей литературѣ.

... «Собраніе поэмъ Лермонтова — въ сущности груда черновиковъ, перебѣлить которые помѣшала смерть».

Среди окружавшихъ Садовского, забавной фигурой былъ тоже «бывшій москвичъ» — поэтъ Тиняковъ-Одинокій. При Садовскомъ онъ былъ не то въ камердинерахъ, не то въ адъютантахъ.

«Александръ Ивановичъ, сбѣгай, братъ, за папиросами». — Тиняковъ приносилъ папиросы. — «Александръ Ивановичъ — пива»! — «Александръ Ивановичъ, гдѣ это Кантъ говоритъ то то и то то?» — Тиняковъ безъ запинки отвѣчалъ.

Это былъ человѣкъ страшнаго вида, оборванный, обросшій волосами, ходившій въ опоркахъ и крайне ученый. Онъ изучилъ все, отъ египетскихъ мифовъ до химіи. Главнымъ конькомъ его былъ Талмудъ, изученный имъ досконально, но толковавшійся нѣсколько специфически. Тиняковъ въ трезвомъ видѣ былъ смиренъ и имѣлъ видъ забитый и грустный. Въ пьяномъ, а пьянъ онъ былъ почти всегда, — онъ становился предпріимчивымъ.

«Бродячая Собака». За однимъ столикомъ сидятъ господинъ и дама — случайные посѣтители. «Фармацевты», на жаргонѣ «Собаки». Заплатили по три рубля за входъ и смотрятъ во всѣ глаза на «богему».

Мимо нихъ невѣрной походкой проходитъ Тиняковъ. Останавливается. Уставляется мутнымъ взглядомъ. Садится за ихъ столъ, не спрашивая. Беретъ стаканъ дамы, наливаетъ вина, пьетъ.

«Фармацевты» удивлены, но не протестуютъ. «Богемные нравы... Даже интересно...»

Тиняковъ наливаетъ еще вина. «Стихи прочту, хотите?»

«.. Богемные нравы... Поэтъ... Какъ интересно... Да, пожалуйста, прочтите, мы такъ рады»...

Икая, Тиняковъ читаетъ:

Любо мнѣ, плевку плевочку,
По канавкѣ проплывать,
Скользкимъ бокомъ прижиматься...

— Ну, что... Нравится? — Какъ-же, очень! — А вы поняли? Что же вы поняли? Ну, своими словами разскажите...

Господинъ мнется. — Ну... эти стихи... вы говорите... что вы плевокъ.. и...

Страшный ударъ кулакомъ по столу. Бутылка летитъ на полъ. Дама вскакиваетъ, перепуганная на смерть. Тиняковъ дикимъ голосомъ кричитъ:

— А!.. Я плевокъ!.. я плевокъ!.. а ты...

Этотъ Тиняковъ въ 1920 году неожиданно появился въ Петербургѣ. Онъ былъ такой же, какъ всегда, грязный, оборванный, небритый. Откуда онъ взялся и чѣмъ занимается, никого не интересовало. Однажды онъ пришелъ въ гости къ писателю Г. Поговорили о томъ, о семъ и перешли къ политикѣ. Тиняковъ спросилъ у Г., что онъ думаетъ о большевикахъ. Тотъ высказалъ, не стѣсняясь, что думаетъ.

— А, вотъ какъ, — сказалъ Тиняковъ. — Ты, значитъ, противникъ рабоче-крестьянской власти! Не ожидалъ. Хоть мы и пріятели, а долженъ произвести у тебя обыскъ. — И вытащилъ изъ кармана мандатъ какой-то изъ провинціальныхъ ЧК...

**
*

Въ 1916 году я былъ въ Москвѣ и завтракалъ съ Садовскимъ въ «Прагѣ». Садовской меня «привѣтствовалъ», какъ онъ выражался. Завтракъ былъ пышный, счетъ что-то большой. Когда принесли сдачу, Садовской пересчиталъ ее, спряталъ, порылся въ карманѣ и вытащилъ два мѣдныхъ пятака. «Холопъ!» — онъ бросилъ пятаки на столъ, — «тебѣ на водку» — «Покорнѣйше благодаримъ, Борисъ Александровичъ», — подобострастно раскланялся лакей, точно получивъ баснословное «на чай». Я былъ изумленъ. «Балованный народъ, — проворчалъ

Садовской. — При матушкѣ Екатеринѣ за гривенникъ можно было купить теленка»...

Онъ медленно облачался въ свое потертое пальто. Одинъ лакей подавалъ ему палку, другой шарфъ, третій дворянскую фуражку.

Черезъ нѣсколько дней я зашелъ въ «Прагу» одинъ. Подавалъ мнѣ тотъ же лакей. «Осмѣлюсь спросить, не больны ли Борисъ Александровичъ — что-то ихъ давно не видать». — «Нѣтъ, онъ здоровъ». — «Ну, слава Богу — такой хорошій баринъ». — «Ну, кажется, на чай онъ васъ не балуетъ?» — Лакей ухмыльнулся. — «Это вы насчетъ гривенника? Такъ они когда гривенникъ, а когда и четвертную отвалятъ... Не жалуемся — господинъ хорошій...»

X

Осенью 1910 года изъ третьяго класса заграничнаго поѣзда вышелъ молодой человѣкъ. Никто его не встрѣчалъ, багажа у него не было, — единственный чемоданъ онъ потерялъ въ дорогѣ.

Одѣтъ путешественникъ былъ странно. Широкая потрепанная крылатка, альпійская шапочка, ярко рыжіе башмаки, нечищенные и стоптанные. Черезъ лѣвую руку былъ перекинутъ клѣтчатый пледъ, въ правой онъ держалъ бутербродъ...

Такъ, съ бутербродомъ въ рукѣ, онъ и протолкался къ выходу. Петербургъ встрѣтилъ его непріязненно: мелкій холодный дождь надъ Обводнымъ каналомъ — вѣялъ безденежьемъ. Клеенчатый городовой подъ мутнымъ небомъ, въ мрачномъ пролетѣ Измайловскаго проспекта, напоминалъ о «правожительствѣ».

Звали этого путешественника — Осипъ Эмильевичъ Мандельштамъ. Въ потерянномъ въ Эйдкуненѣ чемоданѣ, кромѣ зубной щетки и Бергсона, была еще растрепанная тетрадка со стихами. Впрочемъ, существенна была только потеря зубной щетки — и свои стихи, и Бергсона онъ помнилъ наизусть...

***

... Въ твои годы я самъ зарабатывалъ свой хлѣбъ!

Растрепанныя брови грозно нахмуриваются надъ птичьимъ личикомъ. Тарелка съ супомъ, расплескиваясь, отскакиваетъ на середину стола. Салфетка летитъ въ уголъ...

Отецъ — не въ духѣ. Онъ всегда не въ духѣ, отецъ Мандельштама. Онъ — неудачникъ-коммерсантъ, чахоточный, затравленный, вѣчно фантазирующій. Постоянныя надежды: вотъ, наладится кожевенное дѣло. И сейчасъ же на смѣну разочарованіе: не повезло, не вышло, провалилось...

Мать — грузная, вялая, добрая, безпомощная, тайкомъ сующая сыну рубль, съэкономленный на хозяйствѣ. Девяностолѣтняя высохшая бабушка, съ тройными очками на носу, сгорбленная надъ Библіей: высчитываетъ сроки пришествія Мессіи...

Мрачная петербургская квартира зимой, унылая дача лѣтомъ. И зимой и лѣтомъ — обѣды въ грозномъ молчаніи, разговоры вполголоса, страхъ звонка, страхъ телефона. Тѣнь судебнаго пристава, вѣжливая и неумолимая, дымящійся бурый сургучъ... Слезы матери — что мы будемъ дѣлать? Отецъ, точно лейденская банка, только тронь — убьетъ...

Висячая лампа уныло горитъ. Чай нейдетъ въ горло. «Что мы будемъ дѣлать?» — Вексель предъявленъ къ протесту...

Тяжелая тишина. Изъ сосѣдней комнаты — хриплый шопотъ бабушки, сгорбленной надъ Библіей: страшныя, непонятныя древне-еврейскія слова.

Ничего, — какъ-то обходится. Приставъ снялъ печати. Вексель согласились переписать. Снова — надежда: кажется, наладится экспортъ масла...

Но всѣ знаютъ, что ничего не наладится, все невѣрно, неустойчиво — должно, кончится чѣмъ-нибудь страшнымъ — разрывомъ сердца, самоубійствомъ, нищетой.

... Худой, смуглый, некрасивый подростокъ, отдѣлавшись, наконецъ, отъ томительнаго чаепитія, читаетъ у себя въ ком-

натѣ «Критику чистаго разума». Трудно читать безъ подстрочника! Но Куно Фишеръ валяется подъ столомъ — къ чорту Куно Фишера.

«Головой» — трудно еще услѣдить за Кантомъ, но уже все существо впитываетъ, какъ воздухъ, его «чудный холодъ». Въ головѣ шумокъ тоже «чудный»: самое сладкое читать такъ — не умомъ, предчувствіемъ...

Онъ откладываетъ книгу и подходитъ къ окну. На пустомъ Каменноостровскомъ — фонари. На морозномъ небѣ — зимнія звѣзды. Какъ просторно тамъ, въ Петербургѣ, въ мірѣ, въ пространствѣ...

— Осипъ, ложись спать. Опять отецъ разсердится.

— Ахъ, сейчасъ, мама.

... Въ головѣ туманъ. Кантъ... Музыка... Жизнь.., Смерть... Сердце начинаетъ стучать... Губы начинаютъ шевелиться:

Образъ твой, мучительный и зыбкій,
Я не могъ въ туманѣ осязать.
Господи! сказалъ я по ошибкѣ,
Самъ того не думая сказать.

Божье имя, какъ большая птица,
Вылетѣло изъ мой груди —
Впереди густой туманъ клубится,
И пустая клѣтка позади...

**
*

Мандельштамъ — самое смѣшливое существо на свѣтѣ.

Гдѣ-бы онъ ни находился, чѣмъ-бы ни былъ занятъ — только подмигните ему, и вся серьезность пропала. Только-что велъ важный и ученый разговоръ съ неменѣе важнымъ и ученымъ собесѣдникомъ, и вдругъ:

— Ха-ха-ха-ха...

Онъ хохочетъ до удушья. Лицо дѣлается краснымъ, глаза полны слезъ. Собесѣдникъ удивленъ и шокированъ. Что такое съ молодымъ человѣкомъ, разсуждавшимъ такъ умно, такъ вдумчиво? Не боленъ ли онъ?..

О, нѣтъ, не боленъ. Впрочемъ — пусть боленъ. Все-таки это болѣе правдоподобно, чѣмъ если объяснять дѣйствительную причину смѣха: кто-то чихнулъ, муха сѣла кому-то на лысину...

— Зачѣмъ пишется юмористика? — искренне недоумѣвалъ Мандельштамъ. — Вѣдь, и такъ все смѣшно.

Разъ мы проходили по Сергіевской, мимо дома, гдѣ года два назадъ Мандельштамъ, «временно» проклятый и изгнанный отцомъ (это случалось часто), жилъ у тетушки съ дядюшкой. Я навѣщалъ его нѣсколько разъ въ этомъ изгнаніи. Жилось Мандельштаму тамъ несравненно лучше, чѣмъ дома. И дядюшка, и тетушка ухаживали за племянникомъ чрезвычайно. Тетушка, веселая, розовая, круглая, какъ шаръ, закармливала его чѣмъ-то жирнымъ и вкуснымъ, худощавый и лысый дядюшка потчивалъ хорошими папиросами, коньякомъ и совалъ въ карманъ пятирублевки. Мандельштамъ тоже ихъ искренно любилъ.

«Славные старики, милые старики»...

Мы проходили мимо дома этихъ «славныхъ стариковъ». Я замѣтилъ на окнахъ ихъ квартиры бѣлые билетики о сдачѣ.

— Твои родные переѣхали? Гдѣ же они теперь живутъ?

— Живутъ?.. Ха... ха... ха... Нѣтъ, не здѣсь... Ха.. ха.. ха... Да, переѣхали...

Я удивился.

— Ну, переѣхали, — что-жъ тутъ смѣшного?

Онъ совсѣмъ залился краской. Слезы показались въ глазахъ...

— Что смѣшного? Ха... ха... А ты спроси, куда они переѣхали!..

Задыхаясь отъ хохота, онъ пояснилъ:

— Въ прошломъ году... Тю-тю... отъ холеры... на тотъ свѣтъ переѣхали!

И, оправдываясь отъ своей неумѣстной веселости, —

— Стыдно смѣяться... Они были такіе славные... Но такъ смѣшно — оба отъ холеры... А ты... ты... еще спрашиваешь... Куда пе... Ха... ха... ха... Пе... переѣхали, ..

Смѣшливъ — и обидчивъ.

Поговоривъ съ Мандельштамомъ часъ, — нельзя его не обидѣть, такъ-же, какъ нельзя не разсмѣшить. Часто одно и то-же сначала разсмѣшитъ его, потомъ обидитъ. Или — наоборотъ.

Это, впрочемъ, «общепоэтическое» — чувствовать обиды, настоящія и выдуманныя, съ необыкновенной остротой. И тутъ же смѣяться и надъ ними, и надъ собой.

Мандельштамъ обижался за то, что онъ некрасивъ, бѣденъ, за то, что стиховъ его не слушаютъ, надъ пафосомъ его смѣются...

Ну, а Байронъ? Онъ былъ красивъ, знаменитъ и богатъ, но за то прихрамывалъ. О, чуть-чуть, почти незамѣтно. А врядъ-ли не съ этого прихрамыванія пошелъ весь «байронизмъ»...

Да, это «общепоэтическое». Только о Мандельштамѣ какъ то особенно «позаботилась» недобрая фея, вѣдающая судьбами поэтовъ. Она дала ему самый чистый, самый «ангельскій» даръ и бросила въ міръ вполнѣ голымъ, беззащитнымъ, неприспособленнымъ... Барахтайся, какъ можешь.

Онъ и барахтался:

Намъ ли, брошеннымъ въ пространствѣ,
Обреченнымъ умереть,
О прекрасномъ постоянствѣ,
И о вѣрности жалѣть!

**
*

Стихи, сочинявшіеся въ Швейцаріи или Гейдельбергѣ низкорослымъ русскимъ студентомъ, удивлявшимъ мѣстныхъ жителей смѣшнымъ клѣтчатымъ пледомъ, общипанными рыжими

бачками и привычкой въ учебные часы прогуливаться гдѣ-нибудь въ паркѣ, монотонно бормоча себѣ подъ носъ (такъ стихи и сочинялись), стихи эти, рукопись которыхъ потерялась вмѣстѣ съ Бергсономъ и зубной щеткой, появились въ ноябрьской книжкѣ «Аполлона».

Дано мнѣ тѣло. Что мнѣ дѣлать съ нимъ,
Такимъ единымъ и такимъ моимъ?

За радость тихую дышать и жить,
Кого, скажите, мнѣ благодарить?

Я и садовникъ, я же и цвѣтокъ,
Въ темницѣ міра я не одинокъ.

Я прочелъ это и еще нѣсколько такихъ же «качающихся» туманныхъ стихотвореній, подписанныхъ незнакомымъ именемъ, и почувствовалъ толчокъ въ сердце:

— Почему это не я написалъ!

Такая «поэтическая зависть» — очень характерное чувство. Гумилевъ считалъ, что она безошибочнѣй всѣхъ разсужденій опредѣляетъ «вѣсъ» чужихъ стиховъ. Если шевельнулось — «зачѣмъ не я» — значитъ, стихи «настоящіе».

Стихи были удивительные. Именно, удивительные. Они, прежде всего, удивляли.

Я очень «уважалъ» тогда «Аполлонъ», чрезмѣрно, пожалуй, уважалъ. Самъ еще тамъ не печатался и на всѣхъ печатавшихся смотрѣлъ, какъ на какихъ-то посвященныхъ. До этой ноябрьской книжки 1910 года все, печатавшееся въ стихотворномъ отдѣлѣ «Аполлона», я искренно считалъ поэзіей. Но книжка со стихами Мандельштама впервые ввела меня въ «роковое раздумье». Она выглядѣла особенной, непохожей на прежнія. И не къ украшенію это ей служило...

Впервые блескъ «Сребролукаго» показался мнѣ нѣсколько... оловяннымъ.

... На стекла вѣчности уже легло
Мое дыханіе, мое тепло...

Стихи, подписанные неизвѣстнымъ именемъ «О. Мандельштамъ», переливались, сіяли, холодѣли, какъ звѣзды въ водѣ. И отъ этого «звѣзднаго» сосѣдства — очень ужъ явно обнаруживалась природа всего окружающаго, — типографская краска и «верже» высшаго качества.

Недѣли черезъ двѣ, въ своей царскосельской гостинной, Гумилевъ, снисходительно улыбаясь (онъ всегда улыбался снисходительно), насъ познакомилъ:

— Мандельштамъ. Георгій Ивановъ.

Такъ вотъ онъ какой — Мандельштамъ!

На щупломъ тѣлѣ (костюмъ, разумѣется, въ клѣтку и колѣни, разумѣется, вытянуты до невозможности, что не мѣшаетъ явной франтоватости: шелковый платочекъ, галстукъ на-боку, но въ горошину и пр.), на щупломъ маленькомъ тѣлѣ несоразмѣрно большая голова. Можетъ быть, она и не такая большая, — но она такъ утрированно откинута назадъ на черезчуръ тонкой шеѣ, такъ пышно вьются и встаютъ дыбомъ мягкіе рыжеватые волосы (при этомъ посерединѣ черепа лысина — и порядочная), такъ торчатъ оттопыренныя уши... И еще чичиковскіе баки пучками!.. И голова кажется несоразмѣрно большой.

Глаза прищурены, полузакрыты вѣками — глазъ не видно. Движенія странно несвободныя. Подалъ руку и сразу же отдернулъ. Кивнулъ — и черезъ секунду еще прямѣе вытянулся. Точно на веревочкѣ.

Заговорилъ онъ со мной, неизвѣстно почему, по-французски, старательно грассируя. На какомъ-то слишкомъ «парижскомъ» ррр... какъ-то споткнулся. Споткнулся, замолчалъ, залился густой малиновой краской, выпрямился еще надменнѣй...

Это онъ, совсѣмъ меня не зная, не сказавъ со мной ни одной связной фразы, — уже обидѣлся на меня. За что? — За то, что онъ не такъ что-то выговорилъ, или не такъ подалъ руку, и я это замѣтилъ и, про себя, что-нибудь непремѣнно подумалъ...

А черезъ четверть часа онъ за чаемъ смѣялся до слезъ какому-то вздору, который я разсказалъ случайно. Что-то о

везшемъ меня извозчикѣ — чушь какую-то. Смѣялся, какъ ребенокъ, уткнувшись лицомъ въ салфетку и задыхаясь.

Когда я впервые услышалъ стихи Мандельштама въ его чтенiи, я былъ удивленъ еще разъ.

Къ страннымъ манерамъ читать — мнѣ не привыкать было. Всѣ поэты читаютъ «своеобразно», — одинъ пришепетываетъ, другой подвываетъ. Я безъ всякаго удивленiя слушалъ и «шансонетное» чтенiе Сѣверянина, и рыканье Городецкаго, и панихиду Чулкова. И, все-таки, чтенiе Мандельштама поразило меня.

Онъ тоже пѣлъ и подвывалъ. Въ тактъ этому пѣнiю, онъ еще покачивалъ обремененной ушами и баками головой и дѣлалъ руками какъ-бы пассы. Въ соединенiи съ его внѣшностью, пѣнiе это должно было казаться очень смѣшнымъ. Однако, не казалось.

Напротивъ, — чтенiе Мандельштама, несмотря на всю его нелѣпость, какъ-то околдовывало. Онъ подпѣвалъ и завывалъ, покачивая головой на тонкой шеѣ, и я испытывалъ какой-то холодокъ, страхъ, волненiе, точно передъ сверхъ-естественнымъ. Такого безпримѣснаго проявленiя всего существа поэзiи, какъ въ этомъ чтенiи, какъ въ этомъ человѣкѣ (во всемъ, во всемъ, даже въ клѣтчатыхъ штанахъ) — я еще не видалъ въ жизни.

И еще разъ мнѣ пришлось удивиться въ этотъ первый день нашего знакомства. Кончивъ читать — Мандельштамъ медленно, какъ страусъ, поднялъ вѣки. Подъ красными вѣками безъ рѣсницъ были сiяющiе, пронизывающiе, прекрасные глаза.

***

«Надъ желтизной правительственныхъ зданiй» свѣтитъ, не грѣя, шаръ морознаго солнца. Извозчики везутъ сѣдоковъ, министры сидятъ въ величественныхъ кабинетахъ, прачки колотятъ ледяное бѣлье, конногвардейцы завтракаютъ у «Медвѣдя», — но что же дѣлать въ этомъ распорядкѣ царскаго Петер-

бурга — ему, Мандельштаму, точно и впрямь свалившемуся съ какого-то Марса на петербургскую мостовую? Денегъ у него нѣтъ. Его оттопыренныя уши мерзнутъ.

Летитъ въ туманъ моторовъ вереница,
Самолюбивый скромный пѣшеходъ,
Чудакъ Евгеній — бѣдности стыдится,
Бензинъ вдыхаетъ и судьбу клянетъ...

Что же, чѣмъ не занятіе — шагать по троттуару, вдыхая бензинъ и стыдясь бѣдности! Тѣмъ болѣе, что —

... И въ мокромъ асфальтѣ, поэтъ
Захочетъ — такъ счастье находитъ.

Вскорѣ по пріѣздѣ изъ за границы (въ родительскомъ домѣ стало ему совсѣмъ «не житье») Мандельштамъ зажилъ самостоятельно.

Мандельштамъ и самостоятельная жизнь!

Жилъ все-таки. Цѣною долгихъ переговоровъ, сложныхъ обмѣновъ готоваго бѣлья на превосходящую его груду нестираннаго, — изъ цѣпкихъ, красныхъ рукъ прачекъ вырывались ослѣпительныя пестрыя рубашки, которыми любилъ блистать Мандельштамъ. Какимъ-то чудомъ поддавались уговорамъ и непреклонные по природѣ мелкіе портные и кроили въ кредитъ, вздыхая и качая головами, крупно-клѣтчатые костюмы на его нелѣпую фигуру. Это и карманныя деньги было самой сложной частью самостоятельнаго существованія. Квартира и столъ были дѣломъ пустяшнымъ: симпатичные полковники въ отставкѣ и добродушные старые евреи, сдающіе комнаты и не слишкомъ притѣсняющіе жильцовъ, въ дореволюціонныя времена водились въ Петербургѣ... Карманныя деньги были нужны на табакъ и на черный кофе: для написанія стихотворенія въ пять строфъ — Мандельштаму требовалось, въ среднемъ, часовъ восемь, и въ теченіе этого времени онъ уничтожалъ не менѣе пятидесяти папиросъ и полуфунта кофе.

Если денегъ окончательно нѣтъ — остается послѣдній выходъ, утомительный, но вѣрный. Броситься, какъ въ пучину, подъ замороженную полость извозчика. — Пошелъ...

Заплатить нечѣмъ. Но вѣдь, придется заплатить. Значитъ, кто-то, гдѣ-то заплатитъ. А ужъ навѣрно у того, кто заплатитъ извозчику, найдется трехрублевка и для сѣдока...

... Замороженный Ванька плетется въ «неизвѣстномъ направленіи». Мелькаютъ другіе извозчики, знающіе, куда ѣхать, съ сѣдоками, имѣющими квартиры и текущіе счета въ банкѣ. Въ витринахъ Елисѣева мелькаютъ тѣни ананасовъ и винныхъ бутылокъ, призракъ омара завиваетъ во льду красный чешуйчатый хвостъ. На углу Конюшенной и Невскаго продаются плацкарты международныхъ вагоновъ въ Берлинъ, Парижъ, Италію... Раскраснѣвшіяся отъ мороза женщины кутаются въ соболя; за стеклами цвѣточныхъ магазиновъ — груды срѣзанныхъ розъ. — И все это такъ... кажущееся...

Реально — пальто, подбитое вѣтромъ, комната, изъ которой выселяютъ, извозчикъ, за котораго неизвѣстно кто заплатитъ, некрасивое лицо съ багровѣющими отъ холода ушами, обиды настоящія и выдуманныя, — выдуманныя часто больнѣе настоящихъ... И все то же, единственное жалкое утѣшеніе:

> ... И въ мокромъ асфальтѣ, поэтъ
> Захочетъ — такъ счастье находитъ.

... Зачѣмъ пишутъ юмористику, — не понимаю. Вѣдь и такъ в с е с м ѣ ш н о...

Разъ Мандельштамъ долженъ былъ срочно ѣхать въ Варшаву. Онъ былъ влюбленъ (разумѣется, безнадежно). И отъ этой поѣздки зависѣла какъ-то (или ему казалось, что зависѣла) «вся его судьба». Было военное время, но онъ проявилъ небывалую энергію и выхлопоталъ всѣ пропуски и разрѣшенія. Но въ хлопотахъ онъ забылъ о «пустяшномъ» — деньгахъ на поѣздку.

Ему надо было — «непремѣнно, или умереть», — быть въ Варшавѣ къ опредѣленному сроку. И вотъ — нѣтъ денегъ.

И полная, абсолютная невозможность ихъ достать. Я столкнулся съ нимъ въ дверяхъ одной редакціи, гдѣ «высоко цѣнили» его «прекрасное дарованіе», но аванса, конечно, не дали. Онъ сказалъ тогда: — Я только теперь понялъ, что можно умереть на глазахъ у всѣхъ, и никто даже не обернется...

Въ Варшаву онъ попалъ все-таки, — его взялъ въ свой санитарный поѣздъ покойный Н. Н. Врангель. Въ Варшавѣ съ его «судьбой» произошла какая-то катастрофа, — Мандельштамъ стрѣлялся, конечно, неудачно. Отлежавшись въ госпиталѣ — онъ вернулся въ Петербургъ. На другой день послѣ его пріѣзда я встрѣтилъ его въ «Бродячей Собакѣ». Давясь отъ смѣха, онъ читалъ кому-то четверостишіе, только-что имъ сочиненное:

Не унывай,
Садись въ трамвай,
Такой пустой,
Такой восьмой...



Когда пришелъ «октябрь», и «неудачникамъ» всѣхъ странъ были обѣщаны и дворцы, и обѣды, и всяческія удачи, Мандельштамъ оказался «на той сторонѣ» — у большевиковъ. Точнѣе — около большевиковъ. Въ партію онъ не поступилъ (по робости, должно быть, придутъ бѣлые — повѣсятъ), товарищемъ народнаго комиссара не пристроился. Но терся гдѣ-то около, кому-то льстилъ, какія-то руки, которыя не слѣдовало пожимать — пожималъ и какими-то благами за это пользовался. Это было, конечно, не совсѣмъ хорошо, но и не такъ ужъ страшно, если подумать, какой безотвѣтственной — (притомъ, голодной, безпомощной, одинокой), «птицей Божьей» былъ Мандельштамъ. Да и не одному ему изъ «литераторовъ россійскихъ» и отнюдь, при этомъ, не «птицамъ», вродѣ Мандельштама, увы, придется элегически вздохнуть:

Какія грязныя не пожималъ я руки,
Не соглашался съ чѣмъ...

Вспомнивъ 1918-1920 годы, Смольный, Асторію, «Бѣлый корридоръ» Кремля...

... 1918 годъ. Мирбахъ еще не убитъ. Совѣтское правительство еще коалиціонное — большевики и лѣвые эсъ-эры. И вотъ, въ какомъ-то реквизированномъ московскомъ особнякѣ идетъ «коалиціонная» попойка. Изобразить эту или подобную ей попойку не могу по простой причинѣ: не бывалъ. Но вообразить не трудно: интеллигентскія бородки и золотые очки вперемежку съ кожаными куртками. Совѣтскія дамы. «За милыхъ женщинъ, прелестныхъ женщинъ»... «Пупсикъ»... «Интернаціоналъ». Много народу, много выпивки и ѣды. Тутъ же, среди этихъ очковъ, «Пупсика», «Интернаціонала», водки и икры — Мандельштамъ. «Божья птица», пристроившаяся къ этой икрѣ, къ этимъ натопленнымъ и освѣщеннымъ комнатамъ, къ «ассигновочкѣ», которую Каменева завтра выпишетъ, если сегодня ей умѣло польстить. Всѣ пьяны, Мандельштамъ тоже навеселѣ. Немного, потому что пить не любитъ. Онъ больше насчетъ пирожныхъ, икры, «ветчинки»...

Совѣтская попойка, конечно, тоже смѣшна, и какъ всякое сборище пьяныхъ людей, и «индивидуально»; и совѣтскими манерами «прелестныхъ женщинъ», и этимъ «мощнымъ» интернаціоналомъ», и мало ли чѣмъ. «Коалиція» пьетъ, Мандельштамъ ѣстъ икру и пирожныя. Каменева на тонкую лесть мило улыбнулась и сказала: «зайдите завтра къ моему секретарю». «Пупсикъ» гремитъ. Тепло. Все хорошо. Все пріятно. Все забавно. И.... много пить не слѣдуетъ, но рюмку, другую...

Но вдругъ, улыбка на лицѣ Мандельштама какъ-то блѣднѣетъ, вянетъ, дѣлается растерянной... Что такое? Выпилъ лишнее? Или пепелъ душистой хозяйской сигары прожегъ сукно только-что, съ такими хлопотами, сшитаго костюма?..

Или зубы, несчастные его зубы, которые вѣчно болятъ, потому что къ дантисту, который начнетъ ихъ сверлить, пойти

не хватаетъ храбрости, — зубы эти заныли отъ сахара и конфетъ?..

Нѣтъ, другое.

Съ растерянной улыбкой, съ недоѣденнымъ пирожнымъ въ рукахъ, Мандельштамъ смотритъ на молодого человѣка въ кожаной курткѣ, сидящаго поодаль. Мандельштамъ знаетъ его. Это Блюмкинъ, лѣвый эсъ-эръ. Знаетъ и боится, какъ боится, впрочемъ, всѣхъ, кто въ кожаныхъ курткахъ. Онъ рѣшительно предпочитаетъ мягко поблескивающіе золотые очки Луначарскаго, или надушенныя, отманикюренныя ручки Каменевой. Кожаныя куртки его пугаютъ, этотъ же Блюмкинъ особенно. Это чекистъ, разстрѣльщикъ, страшный, ужасный человѣкъ... Обыкновенно, Мандельштамъ старается держаться отъ него подальше, глазами боится встрѣтиться. И вотъ, теперь смотритъ на него, не сводя глазъ, съ такимъ страннымъ, жалкимъ, растеряннымъ видомъ. Въ чемъ дѣло?

Блюмкинъ выпилъ очень много. Но нельзя сказать, чтобы онъ выглядѣлъ совершенно пьянымъ. Его движенія тяжелы, но увѣренны. Вотъ онъ раскладываетъ передъ собою на столѣ листъ бумаги — какой-то списокъ, разглаживаетъ ладонью, медленно перечитываетъ, медленно водитъ по листу карандашемъ, дѣлая какія-то отмѣтки. Потомъ, такъ же тяжело, но увѣренно, достаетъ изъ кармана своей кожаной куртки пачку какихъ-то ордеровъ...

— Блюмкинъ, чѣмъ ты тамъ занялся? Пей за революцію...

И голосомъ, такимъ же тяжелымъ, съ трудомъ поворачивающимся, но увѣреннымъ, тотъ отвѣчаетъ:

— Погоди. Выпишу ордера... контръ-революціонеры... Сидоровъ? А, помню. Въ расходъ. Петровъ? Какой такой Петровъ? Ну, все равно, въ расх...

Вотъ на это-то и смотритъ, это и слушаетъ Мандельштамъ. Бездомная птица Божья, залетѣвшая сюда погрѣться, поклевать икры, выпросить «ассигновочку».

Слышитъ и видитъ:

... Сидоровъ? А, помню, въ расх...

... Ордера уже подписаны Дзержинскимъ. Заранѣе. И пе-

чать приложена. «Золотое сердце» довѣряетъ своимъ сотрудникамъ «всецѣло». Остается только вписать фамиліи и... И вотъ надъ пачкой такихъ ордеровъ тяжело, но увѣренно, поднимается карандашъ пьянаго чекиста.

... Петровъ? Какой такой Петровъ? Ну, все равно...

И Мандельштамъ, который передъ машинкой дантиста дрожитъ, какъ передъ гильотиной, вдругъ вскакиваетъ, подбѣгаетъ къ Блюмкину, выхватываетъ ордера, рветъ ихъ на куски.

Потомъ, пока еще ни Блюмкинъ, никто не успѣлъ опомниться — опрометью выбѣгаетъ изъ комнаты, катится по лѣстницѣ и дальше, дальше, безъ шапки, безъ пальто, по ночнымъ московскимъ улицамъ, по снѣгу, по рельсамъ, съ одной лишь мыслью: погибъ, погибъ, погибъ... Всю ночь онъ пробродилъ по Москвѣ, въ страшномъ возбужденіи. Можетъ, благодаря этому возбужденію, онъ, хватавшій ангину отъ простого сквозняка, тутъ, пробывъ на морозѣ безъ пальто всю ночь, даже не простудился. — «О чемъ же ты думалъ?» — спросилъ я его. — «Ни о чемъ. Читалъ какіе-то стихи, свои, чужіе. Курилъ. Когда начался разсвѣтъ и Кремль порозовѣлъ, сѣлъ на скамейку у Москва-рѣки и заплакалъ»...

Сѣлъ на скамейку, заплакалъ. Потомъ всталъ и поплелся въ этотъ самый зарозовѣвшій Кремль, къ Каменевой.

Каменева, конечно, еще спала, онъ ждалъ. Въ десять часовъ Каменева проснулась, ей доложили о Мандельштамѣ. Она вышла, всплеснула руками и сказала:

— Пойдите въ ванную, причешитесь, почиститесь! Я вамъ дамъ пальто Льва Борисовича. Нельзя же въ такомъ видѣ везти васъ къ товарищу Дзержинскому.

И Мандельштамъ «чистился» въ каменевской ваннѣ, лилъ себѣ на голову каменевскій одеколонъ, перевязывалъ галстукъ, ваксилъ башмаки. Потомъ пилъ съ Каменевой чай. Пили молча.

Она молчала, и онъ молчалъ.
И о чемъ говорить, мой другъ?..

Потомъ поѣхали.

Дзержинскій принялъ сейчасъ-же, выслушалъ внимательно Каменеву. Выслушалъ, потеребилъ бородку.

Всталъ. Протянулъ Мандельштаму руку.

— Благодарю васъ, товарищъ. Вы поступили такъ, какъ долженъ былъ поступить всякій честный гражданинъ на вашемъ мѣстѣ. Въ телефонъ: — немедленно арестовать товарища Блюмкина и черезъ часъ собрать коллегію ВЧК для разсмотрѣнія его дѣла. И снова, къ дрожащему дрожью счастья и ужаса Мандельштаму:

— Сегодня же Блюмкинъ будетъ разстрѣлянъ.

— Тттоварищъ... началъ Мандельштамъ, но языкъ не слушался, и Каменева уже тянула его за рукавъ изъ кабинета. Такъ онъ и не выговорилъ того, что хотѣлъ выговорить: просьбу арестовать Блюмкина, сослать его куда нибудь (о, еще бы, какая же, если Блюмкинъ останется въ Москвѣ, будетъ жизнь для Мандельштама!). Но... «если можно», не разстрѣливать.

Но Каменева увела его изъ кабинета, довела до дому, сунула въ руку денегъ и велѣла сидѣть дня два, никуда не показываясь, — «пока вся эта исторія не уляжется»...

Выполнить этотъ совѣтъ Мандельштаму не пришлось. Въ двѣнадцать дня Блюмкина арестовали. Въ два — надъ нимъ свершился «строжайшій революціонный судъ», а въ пять какой-то доброжелатель позвонилъ Мандельштаму по телефону и сообщилъ: «Блюмкинъ на свободѣ и ищетъ васъ по всему городу».

Мандельштамъ вздохнулъ свободно только черезъ нѣсколько дней, когда оказался въ Грузіи. Какъ онъ добрался туда — одному Богу извѣстно. Но добрался таки, вздохнулъ свободно. Свобода, впрочемъ, была довольно относительная: его посадили въ тюрьму, принявъ за большевицкаго шпіона.

Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ Блюмкинъ провинился «посерьезнѣе», чѣмъ подписываніемъ въ пьяномъ видѣ ордеровъ на разстрѣлъ: онъ убилъ графа Мирбаха. Мандельштамъ изъ осторожности «выждалъ событія»: мало-ли какъ еще обернется. Но все шло отлично, — лѣвые эсъ-эры разсажены по

тюрьмамъ, Блюмкинъ, заочно приговоренный къ разстрѣлу, исчезъ. Мандельштамъ сталъ собираться въ Москву. Денегъ у него не было, той «энергіи ужаса», которая чудомъ перенесла его изъ Москвы въ Грузію, тоже. Все ничего — устроилось. Помогли друзья — грузинскіе поэты: выхлопотали для Мандельштама... высылку изъ Грузіи въ административномъ порядкѣ.

Первый человѣкъ, который попался Мандельштаму, только что пріѣхавшему и зашедшему поглядѣть «что и какъ» въ кафэ поэтовъ, былъ... Блюмкинъ. Мандельштамъ упалъ въ обморокъ. Хозяева кафэ — имажинисты — уговорили Блюмкина спрятать маузеръ. Впрочемъ, гнѣвъ Блюмкина, повидимому, за два года поостылъ: Мандельштама, бѣжавшаго отъ него въ Петербургъ чуть ли не въ тотъ же вечеръ, онъ не преслѣдовалъ...

XI

Двѣ узкія комнаты съ окошками у потолка, точно въ подвалѣ. Но это не подвалъ, напротивъ, — шестой этажъ. Если подняться на носки или, еще лучше, стать на стулъ — внизу виденъ засыпанный снѣгомъ Таврическій садъ.

Комнаты небольшія. Мебель сборная. На стѣнахъ снимки съ Ботичелли: нѣжно-грустные дѣти-ангелы на фонѣ мягкаго пейзажа, райски-земного. Много книгъ. Если посмотрѣть на корешки — подборъ пестрый. Житія святыхъ и Записки Казановы, Рильке и Раблэ, Лѣсковъ и Уайльдъ. На столѣ развернутый Аристофанъ въ подлинникѣ. Въ углу, передъ потемнѣвшими иконами, голубая «архіерейская» лампадка. Смѣшанный запахъ духовъ, табаку, нагорѣвшаго фитиля. Очень жарко натоплено. Очень свѣтло отъ зимняго солнца.

Это комнаты Кузмина въ квартирѣ Вячеслава Иванова.

Первая — пріемная, вторая — спальня. Кузминъ встаетъ часовъ въ десять и работаетъ въ спальнѣ у конторки — такой, за какими купцы сводятъ счеты. Работаетъ — стоя. Сидя — засыпаешь, увѣряетъ онъ. Пишетъ Кузминъ, по большей части, прямо набѣло. Испишетъ нѣсколько страницъ, погрызетъ кончикъ ручки и опять, не отрываясь, покрываетъ новыя, почти безъ помарокъ.

Пока Кузминъ работаетъ, — въ «пріемной» начинаютъ со-

бираться посѣтители. Какіе то лощенные штатскіе, какіе то юнкера. Зеленые обшлага правовѣдовъ, красные — лицеистовъ.

Это эстеты — поклонники «петербургскаго Уайльда», — какъ всѣ они Кузмина называютъ.

Пока мэтръ работаетъ, эстеты болтаютъ вполголоса.

— Я сейчасъ перечитываю Леконтъ де Лилля, — говоритъ одинъ. — Какъ это прекрасно.

Другой, менѣе литературный, разсѣянно морщится:

— Quel est ce comte, André?

— Вилье де Лиль Аданъ — мой милый, — вставляетъ насмѣшливо третій.

Но литературный эстетъ не чувствуетъ насмѣшки. Онъ равнодушно пожимаетъ плечами:

— Connais pas...

... такіе геніи, какъ Леонардо да Винчи...

... Леонардо, Леонардо, — что такое вашъ Леонардо! Если-бы Акимъ Волынскій не написалъ о немъ книги, никто бы о немъ не помнилъ. Вотъ Клингеръ...

... А Петька-то опять у «Медвѣдя» устроилъ скандалъ — слыхали — вставляетъ, соскучившись умными разговорами, эстетъ вовсе сѣрый. — Нализался, велѣлъ принести миску, пустилъ туда омара... — Разсуждавшіе о Леонардо смотрятъ на него укоризненно — кричитъ во весь голосъ и еще какую чушь. Что скажетъ мэтръ?..

Но мэтръ какъ-разъ заинтересованъ.

— Что вы говорите, Жоржикъ! Опять нализался! Ха, ха! Омара въ миску? Ха, ха! Ну, и что же? Что потомъ? Хотѣлъ драться? Какой сорванецъ! Обошлось безъ протокола? Ну, слава Богу. Все-таки влетитъ ему отъ ротмистра. Онъ заѣдетъ? Лежитъ дома? Надо навѣстить бѣдняжку...

Кузминъ возвращается къ своей конторкѣ. Горничная приноситъ чай. Хрустя англійскимъ печеньемъ, дымя египетскими папиросами, эстеты продолжаютъ болтовню.

... Роджерсъ вчера была очаровательна...

Тотъ же день вечеромъ. У Вячеслава Иванова гости. Въ сводчатой залѣ, обставленной старинной итальянской мебелью

— «Таврическій мудрецъ» ведетъ важную бесѣду на какую-нибудь рѣдкую и ученую тему. Это не «среда», когда въ этой гостиной собирается весь литературный Петербургъ; — нѣсколько избранныхъ, «посвященныхъ» собрались потолковать о «тайнахъ искусства», недоступныхъ профанамъ.

Кузмина нѣтъ. Но вѣдь это естественно. Что ему дѣлать среди сѣдобородыхъ профессоровъ?

Нѣтъ — Вячеславъ Ивановъ уже дважды посылалъ спрашивать, «не вернулся ли Михаилъ Алексѣевичъ». Наконецъ, Кузминъ входитъ. Папироса въ зубахъ, запахъ духовъ, щегольской костюмъ, разсѣянно-легкомысленный видъ. Что ему тутъ дѣлать?

— Какъ хорошо, что вы пришли, дорогой другъ, — говоритъ Вячеславъ Ивановъ. — Мы поспорили тутъ на интереснѣйшую филологическую тему. Профессору мои доводы кажутся неубѣдительными. Я разсчитываю на вашу эрудицію...

***

Когда въ 1909 году я познакомился съ Кузминымъ, Кузминъ только что сбрилъ бороду. Если бы это касалось кого нибудь другого — можно было бы о бородѣ и не упоминать. Но въ біографіи Кузмина сбритая борода, фасонъ костюма, сортъ духовъ или ресторанъ, гдѣ онъ завтракалъ — факты первостепенные. Вѣхи, такъ сказать. По этимъ «вѣхамъ» можно прослѣдить всю «кривую» его творчества.

Итакъ — Кузминъ только-что сбрилъ бороду. Еще точнѣе: пересталъ интересоваться своей внѣшностью, мѣнять каждый день цвѣтные жилеты, маникюрить руки. Пересталъ запечатывать письма оранжевымъ сургучемъ съ оттискомъ своего герба, пересталъ душить ихъ приторнымъ «Астрисомъ». Короче: апостолъ петербургскихъ эстетовъ, идеалъ дэнди съ солнечной стороны Невскаго сталъ равнодушенъ и къ дэндизму и къ эстетизму.

Пересталъ. Но костюмы элегантнаго покроя еще остались, запахъ «Астриса» изъ хрустящей бумаги еще не вывѣтрился. И эти донашиваемые костюмы, эта дописываемая бумага пріобрѣли вдругъ «шармъ», котораго имъ прежде не хватало — законный, скромный, побочный шармъ вещей «при человѣкѣ».

Перестали быть (или казаться) цѣлью — пріобрѣли прелесть.

Маркизы, мушки, XVIII вѣкъ, стилизованное вольнодумство, подвиги великаго Александра, лотосы, Нилъ, нубійцы, опять XVIII вѣкъ и маркизы — все, о чемъ писалъ Кузминъ до тѣхъ поръ, — перестало его интересовать вмѣстѣ съ галстуками и цвѣтными сургучами. Но галстуки еще донашивались. Кузминъ, бросивъ изысканныя темы — перешелъ къ обыкновеннымъ. Но его языкъ, манера, легкость — остались. И, переставъ быть цѣлью, — пріобрѣли прелесть.

... Въ 1909-1910 г.г. Кузминъ дописывалъ романъ «Прекрасный Іосифъ», послѣдніе стихи изъ «Осеннихъ Озеръ» — лучшее изъ имъ написаннаго и въ прозѣ и въ стихахъ. Вещи Кузмина той эпохи были совсѣмъ хороши, особенно проза. Казалось, что поэтъ-дэнди, ставъ просто поэтомъ, выходитъ на настоящую, широкую дорогу.

Казалось...

На «настоящую» дорогу Кузминъ не вышелъ. Въ 1909-1910 году онъ дописывалъ свои лучшія вещи. Слѣдующая за «Осенними Озерами» книга стиховъ «Глиняные Голубки» — паденіе, не рѣзкое, но явное. Слѣдующій романъ — «Мечтатели» — тоже. Старые галстуки донашивались, новые не покупались. «Прекрасная ясность» стала походить на опасную легкость. Изящная небрежность — быстро превратилась въ неряшливость. Освободившись отъ своего прежняго «эстетическаго» содержанія, писанія Кузмина съ каждой новой вещью все опредѣленнѣе дѣлались болтовней безо всякаго содержанія вообще. Зинаида Петровна дрянь и злюка, она интригуетъ и пакоститъ, у нея длинный носъ, который она вѣчно пудритъ. А подпоручикъ Ванечка похожъ на ангела... — вотъ и тема для повѣсти, а то и для романа. И ставшая предательской «пре-

красная ясность» придаетъ все болѣе мертво-фотографическій оттѣнокъ пустымъ «разговорчикамъ» неитересныхъ персонажей. . . .

Какъ-же это случилось?

**
*

Сбритая борода, сортъ духовъ, ресторанъ, гдѣ Кузминъ завтракалъ, повторяю, — факты первостепенные въ его біографіи. Такова ужъ его «женственная» природа: мелочи занимаютъ одинаковое мѣсто съ важнымъ, иногда большее. Судьба такихъ писателей цѣликомъ зависитъ отъ «воздуха», которымъ они дышатъ, — какъ бы талантливы они ни были. Даже такъ талантливы, какъ Кузминъ.

Въ началѣ Кузминъ попалъ въ блестящую среду — лучше нельзя было для него придумать. Онъ поселился въ квартирѣ Вячеслава Иванова, и все лучшее изъ написаннаго Кузминымъ — написано подъ «опекой» этого, можетъ быть, единственнаго за всю исторію русской литературы — знатока, цѣнителя, д р у г а поэзіи. Самъ поэтъ холодный, тяжелый, книжный — чужіе стихи, чужой даръ В. Ивановъ понималъ и умѣлъ направлять, какъ никто.

Жизнь у В. Иванова была именно то, что Кузмину было нужно. Онъ сталъ писать все увѣреннѣй, «звукъ» его поэзіи становился все чище.

Но произошло какое-то охлажденіе, и Кузминъ отъ Иванова уѣхалъ. Жить одинъ онъ органически не могъ — немного времени спустя его уже окружаетъ новое общество, тоже литературное. Онъ опять живетъ подъ одной крышей съ другимъ писателемъ. Жить Кузминъ одинъ не могъ — ему нуженъ былъ «воздухъ», чтобы дышать. Но вотъ, воздухъ найденъ. И Кузминъ дышитъ имъ такъ же свободно, какъ воздухомъ Ивановской «Башни».

Теперь онъ подъ опекой писательницы Н., автора «Гнѣва Діониса», — живетъ у нея. Теперь она даетъ ему литературные совѣты. Эстетическіе правовѣды и юнкера, перекочевавъ

за «мэтромъ» въ гостепріимные салоны этой салонной писательницы — довольны. Здѣсь гораздо веселѣй, чѣмъ на Таврической. Доволенъ и Кузминъ — нѣтъ надъ нимъ «никакого начальства», никто его не «направляетъ», никто не «разсчитываетъ на его эрудицію», когда ему лѣнь послѣ хорошаго обѣда вести умные разговоры. Здѣсь, за глаза и въ глаза, называютъ его геніемъ и на каждое его слово ахаютъ отъ восторга...

... Михаилъ Алексѣевичъ — вы русскій Бальзакъ!

... Кузминъ это маркизъ, пришедшій къ намъ изъ дали вѣковъ...

... Онъ выстрадалъ свою философію...

... Михаилъ Алексѣевичъ, ваши стихи — кружевные... — Авторъ «Гнѣва Діониса», знаменитая писательница, внушаетъ своему новому «союзнику»:

— Вы тонкій. Вы чуткій. Эти декаденты заставляли васъ ломать свой талантъ. Забудьте то, что они вамъ внушали... Будьте самимъ собой.

Забыть такъ не трудно. Стать самимъ собой такъ пріятно. Писать не ломая талантъ — такъ легко. Теперь не то, что переписывать набѣло — и помарокъ не бываетъ.

И, главное, — никакихъ мудрствованій, никакихъ подводныхъ теченій: Зинаида Петровна дрянь и злюка и вѣчно пудритъ носъ. А подпоручикъ Ванечка — ангелъ...

Дважды два — четыре,
Два да три — пять,
Вотъ и все, что мы можемъ,
Что мы можемъ знать...

... Charmant, charmant...
... Онъ выстрадалъ свою философію...

**
*

— Какъ вы думаете, включать мнѣ эти стихи въ книгу? — спрашиваю я у Кузмина.

Кузминъ смотритъ удивленно.

— Почему же не включать? Зачѣмъ же тогда писали? Если сочинили — такъ и включайте.

Онъ самъ «включаетъ» все, что написалось. Пишетъ, между прочимъ, что придется. Сонетъ-акростихъ, и поэму, и слова для балета. На одной страницѣ стихи о сивиллѣ, явившейся поэту (правда, они посвящены Н., что нѣсколько смягчаетъ ихъ важный тонъ), а на другой:

Какъ радостна весна въ апрѣлѣ,
Какъ намъ плѣнительна она;
Въ началѣ будущей недѣли,
Пойдемъ сниматься у Боасона...

На самомъ дѣлѣ собирался идти сниматься. За завтракомъ у Альбера — объ этомъ проектѣ заговорили, пришла рифма весна — Боасона, а тамъ и весь «стишокъ». Придя домой, Кузминъ аккуратно переписалъ его въ тетрадку. Собирая новую книгу — не забылъ вставить и этотъ.

... Зачѣмъ же не включать? Если написали, такъ и включайте...

Сочиняетъ стихи на ходу. Шелъ къ вамъ — вотъ, сочинилъ по дорогѣ. Пишетъ музыку — въ комнатѣ, гдѣ играютъ дѣти сестры. Басы на роялѣ ему не нужны: дѣти колотятъ по басамъ изъ всей силы. А съ другого бока, на клавишахъ повыше, Кузминъ подбираетъ новую пѣсенку, стряпаетъ свою «музычку съ ядомъ».

Прозу пишетъ прямо набѣло. — Зачѣмъ же переписывать, у меня почеркъ хорошій?..

Сестры, тяжесть и нѣжность — одинаковы
ваши примѣты...

Сестры «прекрасная ясность» и «опасная легкость» — ваши примѣты тоже одинаковы, для невнимательныхъ, для нежелающихъ быть внимательными глазъ...

Но самъ Кузминъ — какая затѣйливая жизнь, какая странная судьба!

... Кузминъ ходитъ въ смазныхъ сапогахъ и поддевкѣ.

... Кузминъ принимаетъ гостей въ шелковомъ кимоно, обмахиваясь вѣеромъ...

... Онъ старообрядецъ съ Волги...

... Онъ еврей...

... Онъ служилъ молодцомъ въ мучномъ лабазѣ...

... Онъ воспитывался въ Италіи у іезуитовъ...

... У Кузмина удивительные глаза...

... Кузминъ уродъ...

Въ этихъ пересудахъ много вздора, но въ самомъ вздорномъ есть капля правды. Шелковые жилеты и ямщицкія поддевки, старообрядчество и еврейская кровь, Италія и Волга — все это кусочки пестрой мозаики, составляющей біографію Михаила Алексѣевича Кузмина.

И внѣшность почти уродливая и очаровательная. Маленькій ростъ, смуглая кожа, распластанныя завитками по лбу и лысинѣ, нафиксатуаренныя пряди рѣдкихъ волосъ — и огромные удивительные «византійскіе» глаза. Жизнь Кузмина сложилась странно. Литературой онъ сталъ заниматься къ годамъ тридцати. До этого занимался музыкой, но недолго. А раньше?

Раньше была жизнь, начавшаяся очень рано, страстная, напряженная, безпокойная. Бѣгство изъ дому въ шестнадцать лѣтъ, скитанія по Россіи, ночи на колѣняхъ передъ иконами, потомъ атеизмъ и близость къ самоубійству. И снова религія, монастыри, мечты о монашествѣ. Поиски, разочарованія, увлеченія безъ счету. Потомъ — книги, книги, книги, итальянскія, французскія, греческія. Наконецъ, первый проблескъ душевнаго спокойствія — въ захолустномъ итальянскомъ монастырѣ, въ бесѣдахъ съ простодушнымъ каноникомъ. И первыя мысли объ искусствѣ — музыкѣ...

**
*

Кузминъ готовился быть композиторомъ, — учился у Римскаго-Корсакова. Консерваторіи не кончилъ, но музыки не бросилъ. Именно занятію музыкой Кузминъ обязанъ своей быстрой литературной славѣ, можетъ быть, и всей своей карьерѣ.

Музыкальный критикъ В. Каратыгинъ гдѣ-то услышалъ игру Кузмина и ею плѣнился. Въ качествѣ музыканта, Кузминъ и вошелъ въ петербургскій поэтическій кругъ, — а тамъ ужъ распознали его настоящее призваніе.

Стихамъ Кузмина «училъ» Брюсовъ.

— Вотъ вы все ищете словъ для музыки, — уговаривалъ его Брюсовъ, — и не находите подходящихъ. А другіе находятъ безъ труда — берутъ первое попавшееся, какого-нибудь Ратгауза, и довольны. Вы же не находите. Почему? Потому, что для васъ слова не менѣе важны. Значитъ, вы должны сами ихъ сочинять.

— Помилуйте, Валерій Яковлевичъ, какъ же сочинять? Я не умѣю. Мнѣ рифмъ не подобрать.

И Брюсовъ училъ тридцатилѣтняго начинающаго «подбирать рифмы». Ученикъ оказался способнымъ.

Кстати — о кузминской музыкѣ. Самъ онъ опредѣлялъ ее такъ: — У меня не музыка, а музычка, но въ ней есть ядъ.

Точное опредѣленіе.

Какая нибудь петербургская гостиная. Дамы и молодые люди, поднесенныя къ глазамъ лорнетки, учтивыя улыбки. — Михаилъ Алексѣевичъ, сыграйте. — Кузминъ по-женски жеманится. — Право, не знаю... — Пожалуйста, пожалуйста. — Жеманясь, Кузминъ идетъ къ роялю. Тоже, какъ-то по-женски, трогаетъ клавиши. Съ улыбкой оборачивается: — Но что же мнѣ играть? Я не помню, я забылъ ноты...

Дитя, не тянися весною за розой,
Розу и лѣтомъ сорвешь...

Кузминъ, картавя и пришепетывая, поетъ, по старушечьи, подыгрывая что-то сладко-меланхолическое. Голоса у него нѣтъ. Пустыя, глуповатыя слова, пустая, глуповатая музыка подъ XVIII вѣкъ. Не музыка — музычка. Закройте глаза: развѣ это не бабушка-помѣщица, окруженная внуками, играетъ, вспоминая молодость, старинные чувствительные романсы?

Когда бы въ юности мы знали,
Какъ быстро дни любви бѣгутъ,
Мы-бъ ничего не пропускали,
Ловя блаженство тамъ и тутъ...

Не музыка — музычка. Но въ ней — ядъ.

Уже не въ салонѣ, а окруженный знатоками, поетъ и играетъ Кузминъ. Каратыгинъ. Метнеръ. Браудо. Они внимательно слушаютъ это странное «чудо». Подражательно? Еще бы. Банально-банально. Легковѣсно-легковѣсно. Но...

— Михаилъ Алексѣевичъ, еще, еще спойте...

Дребезжитъ срывающiйся голосъ, плывутъ съ простенькой мелодiей — глуповато-чувствительные «стишки», привычно сталкиваются незатѣйливыя рифмы:

Мнѣ матушка сказала:
Бѣги любови злой,
Ея опасно жало,
Уколетъ не иглой.

Я матушкѣ послушна,
Приму ея совѣтъ,
Но можно-ль равнодушной,
Прожить въ шестнадцать лѣтъ?

**
*

И литературная судьба у Кузмина странная.

Послѣ 1905 года, вкусы русской «передовой» публики начали мѣняться. Всевозможныя «дерзанiя» ее утомили. Послѣ громовъ первыхъ лѣтъ символизма хотѣлось простоты, легкости, обыкновеннаго человѣческаго голоса.

Кузминъ появился какъ нельзя во время.

Первое стихотвореніе его первой книги начиналось строчками, прозвучавшими тогда, какъ откровеніе:

Гдѣ слогъ найду, чтобъ описать прогулку,
Шабли во льду, поджаренную булку...

Вотъ, вотъ — именно. Всѣ устали отъ слога высокаго, всѣ хотѣли «прекрасной ясности», которую провозгласилъ Кузминъ.

И рѣдко чье имя произносилось съ большимъ вниманіемъ и надеждой, чѣмъ тогда имя Кузмина. И не только читателями — людьми, чье одобреніе врядъ-ли можно было заслужить не по праву, — В. Ивановымъ, Иннокентіемъ Анненскимъ. Для лучшей части тогдашней поэтической молодежи имя Кузмина было самымъ дорогимъ.

Онѣ плѣнительны и сейчасъ, его раннія вещи. И сейчасъ, когда очарованіе новизны прошло, а всѣ недостатки этой поэзіи проступили. Перечтите Сѣти, Осеннія Озера, первые три тома разсказовъ, Куранты любви. При всѣхъ «частностяхъ», — это прекрасное достояніе русской литературы. И навсегда въ ней останется.

Но:

... Зачѣмъ же переписывать — у меня почеркъ хорошій...

... Если написали — такъ и включайте...

... Онъ выстрадалъ свою философію...

... Въ началѣ будущей недѣли пойдемъ сниматься къ Боасона...

Прекрасная ясность — опасная легкость.

У Кузмина было все, чтобы стать замѣчательнымъ писателемъ. Не хватало одного — твердости. «Куда вѣтеръ подуетъ».

Вѣтеръ подулъ сначала въ сторону бульварнаго романа, потомъ обратно къ стилизаціи, потомъ къ Маяковскому, потомъ еще куда-то. Для судебъ русской поэзіи эта «смѣна вѣтровъ» уже давно стала безразличной.

XII

Василеостровская вдова-чиновница, колебавшаяся сдавать или не сдавать комнату Гумилеву, говорила:

— Конечно, вы господинъ солидный... Слава Богу, я господъ знаю... Собственный домикъ, говорите, въ Царскомъ? Такъ, такъ. Комнатку, чтобы было гдѣ переночевать, когда наѣзжаете?.. Такъ, такъ. Понятно, нынче съ поѣздами мученіе. Вѣрю, сударь, и понимаю; знаю, слава Богу, господъ. Мнѣ такой жилецъ, какъ вы — самый подходящій. Только... Желаете, я вамъ адресокъ дамъ, недалеко, тутъ же на Тучковомъ — тоже комнаты сдаются. Вы поглядите, можетъ, подойдутъ...

— Да зачѣмъ я пойду глядѣть? Мнѣ у васъ нравится. —

Вдова жеманно улыбалась.

— И вы мнѣ нравитесь, господинъ. Слава Богу... Вижу съ кѣмъ имѣю дѣло. Собственный домикъ... Жилецъ тихій, образованный...

— Ну, такъ что-жъ? Давайте по рукамъ. Завтра же и переѣду.

Вдова помолчала минуту.

— Тутъ же, на Тучковомъ. За угломъ. Хорошія комнаты, свѣтлыя. Одна генеральша сдаетъ. Сходите, господинъ, вамъ пондравится... А я, извиняюсь, — опасаюсь...

— Чего же вы опасаетесь?

— Да вѣдь вы сами сказали, что поэты. А въ поэты, извѣстно, публика идетъ, извиняюсь, не того... Женщина я старая, мнѣ покой дороже. Сходите, господинъ, къ генеральшѣ...

Какъ это ни обидно, надо сознаться, что устами старухи говорила житейская мудрость. «Шла въ поэты» публика, дѣйствительно, «не того», — странная, шалая, безпокойная...

***

Поэтъ Владимиръ Нарбутъ ходилъ бриться къ Молле — самому дорогому парикмахеру Петербурга.

— Зачѣмъ же вы туда ходите? Такія деньги, да еще и бреютъ какъ-то странно.

— Гы-ы, — улыбался Нарбутъ во весь ротъ. — Гы-ы, дѣйствительно, дороговато. Эйнъ, цвей, дрей — лосьону и одеколону, вотъ и три рубля. И бреютъ тоже — ейнъ, цвей, дрей — черезчуръ быстро. Рразъ — одна щека, рразъ — другая. Страшно — какъ бы носа не отхватили.

— Такъ зачѣмъ же ходите?

Изрытое оспой лицо Нарбута расплывается еще шире.

— Гы-ы! Они тамъ всѣ по-французски говорятъ.

— Ну?

— Люблю послушать. Вродѣ музыки. Красиво и непонятно...

Этотъ Нарбутъ былъ странный человѣкъ.

Въ 1910 году вышла книжка: «Вл. Нарбутъ. Стихи». Талантливая книжка. Темы были простодушныя: гроза, вечеръ, утро, сирень, первый снѣгъ. Но отъ стиховъ вѣяло свѣжестью и находчивостью — «Божьяго дара».

Многое было неумѣло, иногда грубовато, иногда провинціально-эстетично (послѣднее извинялось тѣмъ, что большинство стиховъ было подписано какимъ-то медвѣжьимъ угломъ Воронежской губерніи), многое было просто зелено — но, все таки, книжка обращала на себя вниманіе, и въ «Русской Мысли» и «Аполлонѣ» Брюсовъ и Гумилевъ очень сочувственно о

ней отозвались. Заинтересовавшись стихами, заинтересовались и авторомъ — гдѣ онъ, каковъ? Оказалось — Нарбутъ, братъ извѣстнаго художника Егора Нарбута. Обратились къ художнику съ разспросами. Тотъ покрутилъ головой.

— Братишка мой? Ничего, парень способный. Только не надѣйтесь — толку не будетъ. Пьетъ сильно и вообще хулиганъ...

— Гдѣ же онъ?

— У себя, въ Саратовской, имѣньице тамъ у него. Пьянствуетъ, должно быть, — осенью у него всегда кутежъ: урожай продалъ.

— А въ Петербургъ не соберется?

— Соберется, не безпокойтесь. Особенно теперь, какъ вы его по «Аполлонамъ» расхвалили. Успѣете познакомиться... И пожалѣть о знакомствѣ успѣете...

Разговоръ шелъ въ ноябрѣ. А въ январѣ секретарь «Аполлона» былъ вызванъ въ судъ свидѣтелемъ по дѣлу сотрудника «Аполлона», «дворянина Владимира Нарбута». Нарбутъ собрался, наконецъ, въ Петербургъ, и въ первый же вечеръ былъ задержанъ «за оскорбленіе полицейскаго при исполненіи служебныхъ обязанностей». Ночью, по дорогѣ изъ «Давыдки» въ какой-то другой кабакъ, подзадориваемый сопровождавшими его прихлебателями, пытался влѣзть на хребетъ одного изъ коней Клодта на Аничковскомъ мосту и нанесъ тяжкіе побои помѣшавшему ему городовому...

***

Нарбутъ пріѣхалъ въ Петербургъ не для того только, чтобы осѣдлать чугуннаго скакуна, уплатить по суду соотвѣтственный штрафъ и завести литературныя знакомства. У него была цѣль и посерьезнѣй — удивить и потрясти и Петербургъ и литературу.

Когда Нарбуту говорили что-нибудь лестное о его прежнихъ стихахъ — онъ только улыбался загадочно-снисходительно: погодите, то-ли будетъ. Вскорѣ, то тамъ, то здѣсь, въ

литературной хроникѣ промелькнула новость: Вл. Нарбутъ издаетъ новую книгу «Аллилуйя». Какъ извѣстно, значеніе, которое поэтъ придаетъ появленію своей книги — обратно пропорціонально впечатлѣнію отъ этого же событія на читателя. По подсчету Брюсова, его читали, по всей Россіи, около тысячи человѣкъ. Брюсова въ преуменьшеніи изъ скромности заподозрить трудно. А подсчитано это въ разгаръ всероссійской славы Брюсова и читательскаго интереса къ нему. Чего же было ждать начинающему? Отъ одобрительныхъ рецензій въ «Аполлонѣ» и «Русской Мысли» до славы, ну, по крайней мѣрѣ, какъ у Леонида Андреева, было очень далеко. Нарбутъ, при всей своей самонадѣянности, это понималъ. Но такъ какъ славы ему очень хотѣлось, ждать у моря погоды было не въ его нравахъ, а довольствоваться малымъ онъ не привыкъ, то Нарбутъ и рѣшилъ форсировать событія.

**
*

Синодальная типографія, куда была сдана для набора рукопись «Аллилуйя», ознакомившись съ ней, набирать отказалась «въ виду свѣтскаго содержанія». Содержаніе, дѣйствительно, было «свѣтское» — половина словъ, составляющихъ стихи, была неприличной.

Синодальная типографія потребовалась Нарбуту — потому что онъ желалъ набрать книгу церковно-славянскимъ шрифтомъ. И не простымъ, а какимъ-то отборнымъ. Въ другихъ типографіяхъ такого шрифта не оказалось. Дѣлать нечего — пришлось купить шрифтъ. Бумаги подходящей тоже не нашлось въ Петербургѣ — бумагу выписали изъ Парижа. Нарбутъ широко сыпалъ чаевые наборщикамъ и метранпажамъ, платилъ сверхурочные, нанялъ даже какого-то спеціалиста по церковно-славянской орфографіи... Въ три недѣли былъ готовъ этотъ типографскій шедевръ, отпечатанный на голубоватой бумагѣ съ красными заглавными буквами и (Саратовъ далъ себя знать) портретомъ автора съ хризантемой въ петлицѣ, и лихимъ росчеркомъ...

По случаю этого событія въ «Вѣнѣ» было устроено Нарбутомъ неслыханное даже въ этомъ «литературномъ ресторанѣ» пиршество. Борисъ Садовской въ четвертомъ часу утра выпустилъ всѣ шесть пуль изъ своего «бульдога» въ зеркало, отстрѣливаясь отъ «тѣни Фадея Булгарина», метръ-д-отеля чуть не выбросили въ окно — уже раскачали на скатерти — едва вырвался. Нарбутъ, въ залитомъ ликерами фракѣ, съ галстукомъ на боку и вѣнкомъ изъ жолудей на затылкѣ, прихлебывая какую-то адскую смѣсь изъ пивной кружки, принималъ поздравленія. Городецкій (это онъ принесъ вѣнокъ изъ жолудей) ухаживалъ за «юбиляромъ» дѣятельнѣй всѣхъ. Онъ уже выпилъ съ нимъ на «ты» и теперь, колотя себя въ грудь, пророчествовалъ:

— Ты... ты... я вѣрю... вижу... будешь вторымъ... Кольцовымъ,

Но Нарбутъ недовольно мотнулъ головой.

— Ккольцовымъ?.. Нннехочу...

— Какъ? — ужаснулся Городецкій. — Не хочешь быть Кольцовымъ? Кѣмъ же тогда? Никитинымъ?

Нарбутъ наморщилъ свой изрытый, безбровый лобъ. Его острые глазки лукаво блеснули.

— Не... Хабріэлемъ Даннунціо...



Славы «Хабріэля» Даннунціо — «Аллилуйя »Нарбуту не принесла. Книга была конфискована и сожжена по постановленію суда.

Не знаю, подѣйствовала ли на Нарбута эта неудача, или на «Аллилуйя» ушелъ весь запасъ его изобрѣтательности.

... Нарбутъ не пьетъ... Нарбутъ сидитъ часами въ Публичной Библіотекѣ... Нарбутъ ходитъ въ Университетъ... Для знавшихъ автора «Аллилуйя» — это казалось невѣроятнымъ. Но это была правда. Нарбутъ — «остепенился».

Въ этотъ «тихій» періодъ я встрѣчалъ его довольно часто, то тамъ, то здѣсь. Два-три разговора запомнились. Я и не

предполагалъ, какъ крѣпко сидитъ въ этомъ кутилѣ и безобразникѣ страсть, наивная «страсть къ прекрасному»...

Постукивая дрянной папиросой по своему неприлично большому и тяжелому портсигару (вдобавокъ, украшенному брилліантовымъ гербомъ рода Нарбутовъ), морща рябой лобъ и заикаясь, онъ говорилъ:

— Меня считаютъ дуракомъ, я знаю. Экая скотина — снялъ урожай, ободралъ мужиковъ, и пропиваетъ. Пишетъ стихи для отвода глазъ, а поскреби — крѣпостникъ. Титъ Титычъ, почти что орангутангъ. А я?..

Молчаніе. Пристальный взглядъ острыхъ, маленькихъ, холодныхъ глазъ. Обычная плутоватая «хохлацкая» усмѣшка сползаетъ съ лица. Вздохъ.

— А я?.... Какой-же я дуракъ, если я смотрю на Рафаэля и плачу? Вотъ... — онъ достаетъ изъ бумажника, тоже украшеннаго короной, затрепанную открытку. — Вотъ... Мадонна... Сикстинская... Былъ за границей. Берлинъ тамъ. «Цоо», тигра икрой кормилъ, — ничего, жретъ, еще проситъ, — видно, вкуснѣй человѣчины, Винтергартенъ какой-то. Ну, дрянь, пошлость. Коньякъ отвратительный, зато дешевъ — дешевле водки. Пьянствовали мы, пьянствовали, и попалъ я какъ-то въ Дрезденъ. Тоже по пьяной лавочкѣ, съ компаніей. Ужъ не помню, какъ и оказались въ этой, какъ ее... Пинакотекѣ... Нѣтъ, это въ Мюнхенѣ — Пинакотека. Ну, все равно, идемъ — глядимъ, ну, извѣстно, — музей, картины, голыя бабы, деревья, дичь... Идемъ, галдимъ — извѣстно, изъ кабака по дорогѣ въ кабакъ — зашли случайно. И вдругъ, у какой-то двери сторожъ, старенькій такой нѣмецъ, дѣлаетъ намъ знакъ, здѣсь, молъ, кричать запрещено. Мы удивились, однако, прикусили языки — можетъ быть, въ той комнатѣ Вильгельмъ или какой-нибудь Бисмаркъ тоже осматриваетъ... Входимъ осторожно. Никого въ комнатѣ нѣтъ. Такъ себѣ зальца небольшая. И на стѣнѣ эта... Сикстинская Мадонна.

Полчаса, должно быть, я стоялъ передъ нею, сволочь свою отослалъ — что она понимаетъ — самъ стою, слезы такъ и текутъ. До вечера, можетъ быть, такъ простоялъ — самъ себя

заставилъ уйти — довольно съ тебя, и такъ на всю жизнь хватитъ! Такая красота, такая чистота, главное! Сторожу далъ двадцать пять марокъ — не тебѣ, говорю, даю, въ ея честь даю... Понялъ, кажется...

Нарбутъ молчитъ минуту. Его маленькіе безцвѣтные глазки затуманиваются. Двѣ слезы появляются на красныхъ вѣкахъ безъ рѣсницъ...

... — Да, это — красота, это — искусство. Полчаса глядѣлъ, — а на всю жизнь хватитъ. На сто жизней! Запилъ я послѣ этого отчаянно — дымъ коромысломъ. Весь Дрезденъ вверхъ дномъ. Чуть подъ судъ не попали — какого-то штатсрата смазали по мордѣ, съ пылу, съ жару. Ничего, откупились... Да, это искусство! Или еще Пушкинъ:

На холмы Грузіи легла ночная мгла,
Шумитъ Арагва предо мною...

Объ этихъ стихахъ даже думать спокойно не могу, сейчасъ сердце колотиться начинаетъ. Когда на Кавказѣ былъ — ѣздилъ спеціально смотрѣть на эту Арагву. Рѣченка паршивая, кстати, мутная...

Вотъ! Какой-же я орангутангъ, если я такъ красоту чувствую? А что безобразничаю и Брюсова не боюсь, такъ потому, что знаю, нечего мнѣ его бояться — и мнѣ, и ему, и третьему, одна цѣна. Если орангутанги — такъ всѣ орангутанги. А къ Пушкину — въ лакеи поступить за счастье бы почелъ. Вы только вслушайтесь:

... Шумитъ А р а г в а предо мною...

Попалась ему эта Арагва шашлычная, и что онъ изъ этой Арагвы сдѣлалъ? Какое чудо!..

И слезы текутъ изъ глазъ Нарбута уже одна за другой. А онъ не пьянъ. Два-три графинчика водки, только что выпитыхъ — не въ счетъ: онъ выпиваетъ и четверть.

**
*

Въ періодъ остепененія Нарбутъ рѣшилъ издавать журналъ. . .

Но хлопотать надъ устройствомъ журнала ему было лѣнь, и врядъ-ли изъ этой затѣи что-нибудь вышло бы, если бы не подвернулся случай. Дѣла дешеваго ежемѣсячника — «Новый журналъ для Всѣхъ» — послѣ смѣны нѣсколькихъ издателей и редакторовъ стали совсѣмъ плохи. Послѣдній изъ издателей этого, ставшаго убыточнымъ, предпріятія — предложилъ его Нарбуту. Тотъ долго не раздумывалъ. Дѣло было для него самое подходящее. Ни о чемъ не нужно хлопотать, все готово: и контора, и контрактъ съ типографіей, и бумага, и названіе. Было это, кажется, въ мартѣ. Апрѣльскій номеръ вышелъ уже подъ редакціей новаго владѣльца.

Вѣроятно, подписчики «Новаго журнала для Всѣхъ» были озадачены, прочтя эту апрѣльскую книжку. Журналъ былъ съ «направленіемъ», выписывали его сельскіе учителя, фельдшерицы, то, что называется «сельской интеллигенціей». Нарбутъ поднесъ этимъ читателямъ, привыкшимъ къ Чирикову и Муйжелю, собственные стихи во вкусѣ «Аллилуйя», прозу Ивана Рукавишникова, а отдѣлы статей отъ политическаго до сельско-хозяйственнаго «занялъ» подъ диспутъ объ акмеизмѣ, съ собственнымъ пространнымъ и сумбурнымъ докладомъ во главѣ. Тутъ же объявлялось, что обѣщанная прежнимъ издателемъ премія — два тома современной беллетристики — замѣняется новой: сочиненія украинскаго философа Сковороды и стихи Бодлера въ переводѣ Владимира Нарбута.

Подписчики были, понятно, возмущены. Въ редакцію посыпались письма недоумѣвающія и просто ругательныя. Въ отвѣтъ на нихъ новая редакція сдѣлала «смѣлый жестъ». Она объявила, что «Журналъ для Всѣхъ» вовсе не означаетъ «для всѣхъ тупицъ и пошляковъ». Послѣднимъ, т. е. требующимъ Чирикова вмѣсто Сковороды и Бодлера — подписка будетъ прекращена, а удовлетворены они будутъ «макулатурой по

выбору» — книжками «Вѣстника Европы», сочиненіями «Надсона или Иванова-Разумника».

Тутъ ужъ по адресу Нарбута пошли не упреки, а вопль. Въ печати послышалось «позоръ», «хулиганство» и т. п. Болѣе всего Нарбутъ былъ удивленъ, что и его литературные друзья, явно предпочитавшіе Бодлера Чирикову и знавшіе, кто такой Сковорода, говорили почти то же самое. Этого Нарбутъ не ожидалъ — онъ разсчитывалъ на одобреніе и поддержку. И получивъ вмѣсто ожидавшихся лавровъ — однѣ непріятности, рѣшилъ бросить журналъ. Но легко сказать, бросить. Закрыть? Тогда не только пропадутъ уплаченныя деньги, но придется еще возвращать подписку довольно многочисленнымъ «пошлякамъ и тупицамъ». Этого Нарбуту не хотѣлось. Продать? Но кто же купитъ?

Покупатель нашелся. Нарбутъ гдѣ-то кутилъ, съ кѣмъ-то случайно познакомился, кому-то разсказалъ о своемъ желаніи продать журналъ. Тутъ же въ дыму и чаду кутежа (послѣ неудачи съ редакторствомъ Нарбутъ «загулялъ во всю»), подвернулся и самъ покупатель — благообразный, полный господинъ купеческой складки, складно говорящій и не особенно прижимистый. Ночью въ какомъ-то кабакѣ, подъ цыганскій ревъ и хлопанье пробокъ — ударили по рукамъ, выпивъ заодно и на ты. А утромъ невыспавшійся и всклокоченный Нарбутъ былъ уже у нотаріуса, чтобы оформить сдѣлку — покупатель очень торопился.

Громъ грянулъ недѣли черезъ двѣ — когда вдругъ всѣ какъ-то сразу узнали, что «декадентъ Нарбутъ» продалъ, какъ-никакъ, «идейный и демократическій» журналъ Гарязину — члену союза русскаго народа и другу Дубровина...

***

Послѣ исторіи съ Гарязинымъ Нарбутъ исчезъ изъ Петербурга. Куда? Надолго-ли? Никто не зналъ. Прошло мѣсяца три, пока онъ объявился.

Объявился же онъ такъ. Во всѣ петербургскія редакціи пришла краткая, но эффектная телеграмма:

«Абиссинія. Джибутти. Поэтъ Владимиръ Нарбутъ помолвленъ съ дочерью повелителя Абиссиніи Менелика».

Вскорѣ пришло и письмо съ абиссинскими шпемпелями и марками, въ центрѣ которыхъ красовался гербъ Нарбутовъ, оттиснутый на лиловомъ сургучѣ съ золотой искрой. На подзаголовкѣ подъ штемпелемъ «Джибутти. Грандъ-Отель» — стояло:

«Дорогіе друзья (если вы мнѣ еще друзья), шлю привѣтъ изъ Джибутти и завидую вамъ, потому что въ Петербургѣ лучше. Пріѣхалъ сюда стрѣлять львовъ и скрываться отъ позора. Но львовъ нѣтъ, и позора, я теперь разсудилъ, тоже нѣтъ: почемъ я зналъ, что онъ черносотенецъ? Я не Венгеровъ, чтобы все знать. Здѣсь тощища. Какой меня чортъ сюда занесъ? Впрочемъ, скоро пріѣду и самъ все разскажу.

... Бракъ мой съ дочкой Менелика разстроился, потому что она не его дочка. Да и о самомъ Меneликѣ есть слухъ, что онъ семь лѣтъ тому назадъ умеръ»...

Пріѣхалъ Нарбутъ изъ Африки какой-то желтый, замореннный. На «пріемѣ», тотчасъ-же имъ устроенномъ, — онъ охотно отвѣчалъ на вопросы любопытныхъ объ Абиссиніи, — но изъ разсказовъ его выходило, что «страна титановъ золотая Африка» — что-то вродѣ русскаго захолустья: грязь, скука, пьянство. Кто-то даже усумнился, да былъ ли онъ тамъ на самомъ дѣлѣ?

Нарбутъ презрительно оглядѣлъ сомнѣвающагося.

— А вотъ, пріѣдетъ Гумилевъ, пусть меня проэкзаменуетъ.

... — Какъ же я тебя экзаменовать буду, — задумался Гумилевъ. — Языковъ ты не знаешь, ничѣмъ не интересуешься... Хорошо, — что такое «текели»?

— Треть рома, треть коньяку, содовая и лимонъ, — быстро отвѣтилъ Нарбутъ. — Только я пилъ безъ лимона.

— А... — Гумилевъ сказалъ еще какое то туземное слово.

— Жареный поросенокъ.

— Не поросенокъ, а вообще свинина. Ну, ладно, скажи

мнѣ теперь, если ты пойдешь въ Джибутти отъ вокзала направо, что будетъ?

— Садъ.

— Вѣрно. А за садомъ?

— Каланча.

— Не каланча, а остатки древней башни. А если повернуть еще направо, за башню, за уголъ?

Рябое, безбровое лицо Нарбута расплылось въ масляную улыбку:

— При дамахъ неудобно...

— Не вретъ, — хлопнулъ его по плечу Гумилевъ. — Былъ въ Джибутти. Удостовѣряю.

Вскорѣ оказалось, что Нарбутъ вывезъ изъ Африки не только эти познанія, но еще и лихорадку. Оттого-то онъ и пріѣхалъ такой желтый. Къ его огорченію, и лихорадка была вовсе не экзотическая. — Въ Пинскѣ, должно быть, схватили? — спросилъ его докторъ.

Нарбутъ уѣхалъ поправляться сначала въ деревню, потомъ куда-то на югъ. Въ 1916 году онъ былъ ненадолго въ Петербургѣ. Шинель прапорщика сидѣла на немъ мѣшкомъ, рука была на перевязи, видъ мрачный. Потомъ пошелъ слухъ, что Нарбутъ убитъ. Но нѣтъ, — въ 1920 году въ книжномъ магазинѣ я увидѣлъ тощую книжку, выпущенную какимъ-то изъ провинціальныхъ отдѣловъ «Госиздата»: «Вл. Нарбутъ. Красный звонъ» или что-то въ этомъ родѣ. Я развернулъ ее. Рифмы «капиталъ» и «возсталъ» сразу же попались мнѣ на глаза. Я бросилъ книжку обратно на прилавокъ...

XIII

Есть воспоминанія, какъ сны. Есть сны — какъ воспоминанія. И когда думаешь о бывшемъ «такъ недавно и такъ безконечно давно», иногда не знаешь, — гдѣ воспоминанія, гдѣ сны.

Ну да, — была «послѣдняя зима передъ войной» и война. Былъ Февраль и былъ Октябрь... И то, что послѣ Октября — тоже было. Но, если вглядѣться пристальнѣй — прошлое путается, ускользаетъ, мѣняется.

... Въ стеклянномъ туманѣ, надъ широкой рѣкой — висятъ мосты, надъ гранитной набережной стоятъ дворцы, и двѣ тонкихъ золотыхъ иглы слабо блестятъ... Какіе-то люди ходятъ по улицамъ, какія-то событія совершаются. Вотъ царскій смотръ на Марсовомъ Полѣ... и вотъ красный флагъ надъ Зимнимъ Дворцомъ. Молодой Блокъ читаетъ стихи... и хоронятъ «испепеленнаго» Блока. Распутина убили вчера ночью. А этого человѣка, говорящаго рѣчь (словъ не слышно, только отвѣтный глухой одобрительный ревъ) — зовутъ Ленинъ...

Воспоминанія? Сны?

Какія-то лица, встрѣчи, разговоры — на мгновеніе встаютъ въ памяти безъ связи, безъ счета. То совсѣмъ смутно, то съ фотографической точностью... И опять — стеклянная мгла, сквозь мглу — Нева и дворцы; проходятъ люди, падаетъ снѣгъ. И куранты играютъ «Коль славенъ»...

Нѣтъ, куранты играютъ «Интернаціоналъ».

⁂

Падаетъ снѣгъ. Послѣ вагоннаго тепла — сырой холодокъ оттепели пронизываетъ, забирается въ рукава и за шиворотъ. И что за идея, ѣхать ночью въ Царское?!. Но дѣлать нечего — пріѣхали, и обратнаго поѣзда нѣтъ.

Тускло горятъ фонари. Вѣтки въ инеѣ. Звѣзды.

— Эй, извозчикъ...

Сани мягко летятъ по рыхлому, талому снѣгу.

Городецкій обнимаетъ меня за талію, галантно, на поворотахъ. На колѣняхъ у насъ Мандельштамъ. Гумилевъ съ Ахматовой — на переднемъ извозчикѣ указываютъ дорогу — это они и выдумали ѣхать, на ночь глядя, въ Царское. Имъ то что — царскоселы. «Но намъ-то, намъ-то всѣмъ». Въ самомъ дѣлѣ, глупо. Послѣ какого-то литературнаго обѣда, гдѣ было порядочно выпито, поѣхали куда-то еще — «пить кофе». Потомъ еще куда-то. Въ первомъ часу ночи оказались на Царскосельскомъ вокзалѣ. Отъ «кофе», выпитаго и здѣсь, и тамъ, головы кружились.

— Поѣдемъ въ Царское... Смотрѣть на скамейку, гдѣ любилъ сидѣть Иннокентій Анненскій.

— Ѣдемъ, ѣдемъ...

Въ самомъ дѣлѣ, какъ раньше не догадались. Удачнѣй нельзя и придумать, не правда-ли? Ночью, по снѣгу, въ какой-то закоулокъ Царскосельскаго парка — на скамейку посмотрѣть. И за это удовольствіе ждать потомъ до семи часовъ утра — перваго поѣзда въ Петербургъ!..

Но «кофе» дѣйствовало, головы кружились.

— Ѣдемъ, ѣдемъ...

Вотъ — пріѣхали. Въ вагонномъ теплѣ — укачало. На таломъ холодкѣ развезло. Право, какъ глупо. Зачѣмъ пріѣхали, куда пріѣхали?!.

Гумилевъ съ Ахматовой (имъ что — царскоселы) впереди, — указываютъ дорогу. Мандельштамъ на моихъ съ Городецкимъ колѣняхъ замерзаетъ, сталъ тяжелый, какъ мѣшокъ.

и молчитъ. За нами на третьемъ извозчикѣ еще два «акмеиста», стараются не отстать: у нихъ нѣтъ денегъ на расплату, отстанутъ — погибнутъ.

У какихъ-то чугунныхъ воротъ — останавливаемся. Бредемъ куда-то, по колѣно въ снѣгу. Деревья шумятъ заиндевѣвшими вѣтками. Звѣзды слабо блестятъ. Идемъ въ томъ-же порядкѣ — мы съ Городецкимъ подъ ручки ведемъ Мандельштама, все тяжелѣющаго и тяжелѣющаго. Сугробы все глубже, холодъ чувствительнѣй. О, Господи...

Гумилевъ оборачивается.

— Пришли! Это и есть любимое мѣсто Анненскаго. Вотъ и скамья.

Снѣгъ, деревья, скамья. И на скамьѣ горбатой тѣнью сидитъ человѣкъ. И негромкимъ, монотоннымъ голосомъ читаетъ стихи...

... Человѣкъ ночью, въ глухомъ углу Царскосельскаго парка, на засыпанной снѣгомъ скамьѣ, глядитъ на звѣзды и читаетъ стихи. Ночью, стихи, на «той самой» скамьѣ. На минуту становится жутко, — а ну, какъ...

Но нѣтъ, это не призракъ Анненскаго. Сидящій оборачивается на наши шаги. Гумилевъ подходитъ къ нему, всматривается...

— Василій Алексѣевичъ, — вы?.. Я не узналъ, было. Господа, позвольте васъ познакомить. Это — цехъ поэтовъ: Городецкій, Мандельштамъ, Георгій Ивановъ. — Человѣкъ грузно подымается и пожимаетъ намъ руки. И рекомендуется:

— Комаровскій.

У него низкій, сиплый голосъ, какой-то деревянный, безъ интонацій. И рукопожатіе тоже деревянное, какъ у автомата. Кажется, онъ ничуть не удивленъ встрѣчѣ.

— Пріѣхали на скамейку посмотрѣть. Да, да — та самая. Я здѣсь часто сижу... когда здоровъ. Здѣсь хорошее мѣсто, тихое, глухое. Даже и днемъ рѣдко кто заходитъ. Недавно гимназистъ здѣсь застрѣлился — только на другой день нашли. Тихое мѣсто...

— На этой скамейкѣ застрѣлился?

— На этой. Это уже второй случай. Почему-то выбираютъ все эту. За уединенность, должно быть.

— Какъ-же вамъ не страшно сидѣть здѣсь по ночамъ одному, — вмѣшиваюсь я въ разговоръ.

Комаровскій оборачивается ко мнѣ и улыбается. Свѣтъ фонаря падаетъ на его лицо. Лицо круглое, «обыкновенное», — такіе бываютъ нѣмцы-коммерсанты средней руки. Во всю щеку румянецъ. И что-то деревянное въ лицѣ и въ улыбкѣ.

— Нѣтъ, когда я здоровъ, мнѣ ничего не страшно. Кромѣ мысли, что болѣзнь вернется.

Онъ въ теченіе нашего короткаго разговора нѣсколько разъ повторяетъ «моя болѣзнь», «когда я здоровъ», «тогда я былъ боленъ». Что это за болѣзнь такая у этого широкоплечаго и краснощекаго?

... — Болѣзнь вернется? — повторяю я машинально конецъ его фразы.

— Да, — говоритъ онъ, — болѣзнь. Сумасшествіе. Вотъ, Николай Степановичъ знаетъ. Сейчасъ у меня «просвѣтленіе», вотъ, я и гуляю. А вообще я больше въ больницѣ живу.

И, не мѣняя голоса, продолжаетъ:

— Если вы, господа, не торопитесь, — вотъ мой домъ, выпьемъ чаю, — почитаемъ стихи.

... Въ большой столовой, подъ сіяющей люстрой, мы пьемъ токайское изъ тонкихъ желтоватыхъ рюмокъ. Стеклянныя двери раскрыты въ зимній садъ, каминъ жарко горитъ. И еще — этотъ ослѣпительный свѣтъ. Всѣ люстры, бра, лампы и въ столовой и въ сосѣднихъ комнатахъ, зажжены, точно для бала. Но хозяинъ находитъ, что свѣта еще недостаточно. Онъ подзываетъ лакея.

— Зажгите жирандоли.

— Слушаюсь, ваше сіятельство.

Еще четыре высокихъ хрустальныхъ канделябра вспыхиваютъ по угламъ сотней свѣчей.

И хозяинъ съ круглымъ румянымъ лицомъ деревянно улыбается:

— Я не люблю темноты въ домѣ...

Комаровскій внимательно слушаетъ наши стихи. Потомъ читаетъ свои.

Онъ сидитъ въ глубокомъ креслѣ, широко разставивъ ноги въ толстыхъ американскихъ башмакахъ. Его рѣдкіе волосы — аккуратно расчесаны. Круглое румяное лицо — лицо нѣмецкаго бюргера, вскормленнаго бифштексами и пивомъ. На лицѣ благополучіе, сытость. Глаза смотрятъ ясно и сонно.

... Это совершенно больной человѣкъ. Такой больной, что доктора разводятъ руками — какъ онъ еще живетъ. Его сердце такъ слабо, что малѣйшее волненіе можетъ стать роковымъ. Отъ неожиданнаго шума, отъ вида крови, отъ всякаго пустяка съ Комаровскимъ дѣлается обморокъ. А съ обморокомъ, нерѣдко, возвращается «то»... Онъ обреченъ на скорую смерть — и знаетъ это. Перейти черезъ улицу для него — приключеніе. Поѣздка въ Петербургъ — подвигъ.

Его единственное страстное желаніе — побывать въ Италіи — такъ-же для него неосуществимо, какъ путешествіе на Марсъ. И онъ утѣшается, читая цѣлыми днями путеводители и описанія, давно изученные наизусть. И пишетъ:

Иду неспѣшною походкою,
И камешекъ кладу въ карманъ.
Тамъ, гдѣ надъ новою находкою,
Счастливый плакалъ Винкельманъ.

Два-три мѣсяца — онъ живетъ «спокойно». Мечтаетъ объ Италіи. Пишетъ стихи. Ночью бредетъ на глухую «скамейку самоубійцъ» въ засыпанномъ снѣгомъ паркѣ.

... Когда я здоровъ, мнѣ ничего не страшно. Кромѣ мысли, что «болѣзнь вернется».

... Зажгите жирандоли. Я не люблю темноты въ домѣ...

Два-три мѣсяца. Потомъ, однажды ночью, онъ просыпается, окруженный какими-то огненными львами, кричитъ, отбивается отъ нихъ... Потомъ больница, мѣшокъ со льдомъ, смирительная рубашка... Потомъ, спустя долгіе мѣсяцы, новый коротkій просвѣтъ...

Комаровскій недавно выписался изъ больницы. Припадокъ былъ очень тяжелъ. Думали не выживетъ. Нѣтъ — выжилъ. Ровнымъ, чуть деревяннымъ, голосомъ онъ читаетъ стихи, начатые «тамъ». О чемъ могъ мечтать человѣкъ, лежа на койкѣ сумасшедшаго дома?..

О Римѣ, о славѣ, о Цезарѣ...

Лампы сіяютъ, отъ запаха цвѣтовъ и каминнаго жара трудно дышать. И ровный голосъ монотонно читаетъ:

... Въ провалы тучъ, въ сіяющій изломъ,
За золотымъ и медленнымъ орломъ.
Пылающіе идутъ легіоны...

Его поэзія блистательна и холодна. Должно быть, это самые блистательные и самые «ледяные» русскіе стихи. «Парнассъ» Брюсова — передъ ними дѣтскій лепетъ. Но, какъ въ голосѣ и улыбкѣ Комаровскаго, и въ этомъ блескѣ что-то деревянное. И что-то непріятно одуряющее, какъ въ этой комнатѣ, слишкомъ натопленной, слишкомъ освѣщенной, слишкомъ заставленной цвѣтами.

... Мы слушаемъ стихи, пьемъ токайское, о чемъ-то разговариваемъ. Наконецъ, прощаемся. Какъ пріятно вдохнуть полной грудью послѣ благовонной духоты этого дома. Духоты, и еще чего-то вѣющаго тамъ — среди смирнскихъ ковровъ и севрскихъ вазъ...

Подморозило. Небо посинѣло передъ разсвѣтомъ. Черезъ полчаса подадутъ поѣздъ. Охъ, — скорѣе бы въ кровать, послѣ безсонной странной ночи.

Это 1914 годъ, февраль или мартъ. Комаровскій говорилъ о своихъ планахъ на осень. Доктора надѣются... Если не будетъ припадка... Поѣздка въ Италію...

Осенью онъ развернулъ газету съ извѣстіемъ, что война неминуема, и упалъ. Сначала думали обморокъ. Нѣтъ, не обморокъ — смерть.

**
*

Изъ Дома Литераторовъ на Бассейной, домой, на Каменноостровскій, путь немалый. На Троицкомъ мосту я поставилъ на земь кулекъ съ крупой, за которымъ путешествовалъ такъ далеко, и облокотился о перила отдохнуть.

Небо красное отъ заката. Съ моря теплый, влажный, «душистый» вѣтеръ. Снѣгъ на Невѣ слипся и обмякъ, у берега расплылись желтоватыя полыньи. Если погода не измѣнится, нельзя будетъ по льду подойти къ Кронштадту. Потомъ начнется ледоходъ, и Кронштадтъ станетъ неприступнымъ. И тогда...

Теплый вѣтеръ мягко и сильно бьетъ въ лицо. Пушечные выстрѣлы — глухіе съ фортовъ, рѣзкіе съ какого-то броненосца, оставшагося «вѣрнымъ революціи». Красное небо, тающій снѣгъ... И кругомъ ни души. «Хожденіе по улицамъ» — разрѣшено до шести вечера, а теперь пять, начало шестого. Но со службъ всѣ уже разошлись, а прогуливаться врядъ-ли кому взбредетъ въ голову. Лучше ужъ посидѣть дома. Вотъ, если погода не измѣнится... Начнется ледоходъ, Кронштадтъ станетъ неприступнымъ. Тогда...

Пора домой и мнѣ. Я взваливаю свой кулекъ на плечи и прибавляю шагу. Конечно, хожденіе разрѣшено до шести, а мнѣ пути минутъ пятнадцать, но, все-таки, лучше поторопиться...

По пустому мосту навстрѣчу мнѣ медленно приближается человѣкъ. Онъ идетъ тихо, похлопывая ладонью по периламъ, явно не торопясь. Вотъ остановился, закуриваетъ, швырнулъ спичку на ледъ. Точно не касается его осадное положеніе и все «изъ него вытекающее». Можетъ быть, такъ и есть. Тогда —непріятная встрѣча. «Хожденіе» до шести, и трудъ-книжка моя въ порядкѣ... но, все-таки...

Изъ подъ барашковой шапки выбивается вьющаяся сѣдоватая прядь. Подъ глазами рѣзкіе «мѣшки», еще рѣзче глубокія морщины у рта. Широкія плечи сутулятся. Руки зябко

засунуты въ карманы. И безразличный, холодный «отсутствующій» взглядъ.

Это не чекистъ, провѣряющій документы. Это Блокъ.

Минуту мы стоимъ подъ краснымъ небомъ, на пустомъ мосту, слушая выстрѣлы. Нѣсколько глухихъ, — это съ фортовъ; грохочущій — съ броненосца.

— Пшено получили, — спрашиваетъ Блокъ. — Десять фунтовъ? Это хорошо. Если круто сварить и съ сахаромъ...

Онъ не оканчиваетъ фразы. Точно вспомнивъ что-то пріятное, беретъ меня за локоть и улыбается.

— Стрѣляютъ, — говоритъ онъ. — Вы вѣрите? Я не вѣрю. Помните, у Тютчева:

Въ крови до пятъ, мы бьемся съ мертвецами,
Воскресшими для новыхъ похоронъ...

Мертвецы палятъ по мертвецамъ. Такъ что, кто побѣдитъ — безразлично.

— Кстати, — онъ улыбается снова. — Вамъ не страшно? И мнѣ не страшно. Ничуть. И это въ порядкѣ вещей. Страшно будетъ потомъ... живымъ.

***

Зимой 1913 года, что-то очень рано, по петербургскимъ понятіямъ — меня разбудила прислуга. «Къ вамъ господинъ. Говорятъ, по литературному дѣлу». Я протеръ глаза и посмотрѣлъ на визитную карточку. Михаилъ Александровичъ Ковалевъ? Такого знакомаго у меня не было. Кто-бы это могъ быть? Неужели, издатель, плѣнившійся моими стихами въ «Аполлонѣ» или «Гипербореѣ» и пришедшій покупать у меня собраніе сочиненій? Чѣмъ чортъ не шутитъ!.. Не безъ волненія, я приказалъ провести посѣтителя въ гостиную, пока я одѣнусь. Но одѣться мнѣ не пришлось — гость уже входилъ въ дверь.

— Лежите, лежите, — быстро-быстро заговорилъ онъ, картавя и пришепетывая. — Лежите, — я къ вамъ на минуту. Что? Можно здѣсь сѣсть? Что? Я сейчасъ уйду, а вы продол-

жайте спать. Какъ у васъ холодно. Что? Спите съ открытой форточкой? Ахъ, это очаровательно, но я не могу. Можно простудиться, схватить чахотку, умереть. Что? У меня слабыя легкія...

Онъ вдругъ всталъ въ позу, точно балерина, собирающаяся сдѣлать прыжокъ. Голова чуть на бокъ, пальчики въ сторону, ноги въ третьей позиціи. И быстро-быстро, нараспѣвъ, прошепелявилъ:

Сказалъ онъ, улыбнувшись кротко —
Мы рядомъ шли, плечо къ плечу, —
Ты знаешь, у меня чахотка,
И я давно ее лечу.

И прибавилъ, жеманно улыбаясь:

— Я — поэтъ Рюрикъ Ивневъ. Это мои стихи.

Пока онъ продѣлывалъ все это, я, нѣсколько ошеломленный, его разсматривалъ.

Тоненькая, «щуплая» фигурка. Блѣдное худое «птичье» лицо какъ-то подергивается, голубоватые глаза близоруко щурятся. Одѣтъ старательно и небрежно: костюмъ хорошій, но помятъ, въ пыли, на фалдѣ прилипла нитка. Башмаки не вычищены, щегольской галстукъ на боку. И растерянная улыбка, растерянное подергиваніе, растерянное «Что? Что»? — за каждымъ словомъ...

— Я поэтъ Рюрикъ Ивневъ. Это мои стихи. Что?

Прочелъ — и опять своей шепелявой скороговоркой:

— Какъ я нашелъ вашъ адресъ? Мнѣ Н. сказалъ... Знаете... этотъ... онъ бываетъ (тутъ «птичье» личико пріосанивается) въ домѣ моего дяди X., государственнаго контролера. Что? Этотъ Н. прочелъ мнѣ ваши стихи, и я въ нихъ влюбился. Что? Я даже наизусть ихъ запомнилъ. Погодите, какъ это? Да.

Былъ тихій вечеръ, вечеръ бала,
Былъ лѣтній балъ межъ старыхъ липъ,
Тамъ, гдѣ рѣка образовала
Свой самый выпуклый изгибъ.

— Вотъ въ это «образовала» — протянулъ онъ, — я и влюбился.

И я пришелъ сказать вамъ это. А теперь я уйду, а вы спите... Что?

Я поблагодарилъ его за любезность и поспѣшилъ разъяснить небольшое недоразумѣніе: стихи, только-что прочтенные, не мои. Это стихи Виктора Гофмана, всѣмъ извѣстные, давно перепечатанные разными календарями и чтецами-декламаторами. Такъ что...

Ивневъ удивился чуть-чуть.

— Не ваши? Гофмана? Какъ странно! Впрочемъ, это все равно — вѣдь, они такъ къ вамъ подходятъ...

Я предложилъ ему подождать меня въ сосѣдней комнатѣ.

— Сейчасъ я одѣнусь и будемъ пить кофе...

Птичье личико надменно наморщилось. — Кофе? Благодарю, я уже пилъ свой утренній шоколадъ. И вообще — который часъ? Ахъ, Господи, четверть одиннадцатаго. Въ двѣнадцать я завтракаю у княгини С., надо заѣхать домой, переодѣться. Княгиня такая прелестная женщина... Вы встрѣчались? Что? Я васъ непремѣнно познакомлю... Ахъ, ахъ, какъ поздно...

Онъ кивнулъ и убѣжалъ, подергиваясь на ходу. На креслѣ осталась забытая имъ перчатка. Она была щегольская, свѣтло-желтой замши, на шелковой подкладкѣ. Но для январьской погоды мало подходила, особенно съ распоротыми по швамъ пальцами...



Съ нѣкоторыхъ поръ, Рюрикъ Ивневъ — постоянный гость въ «Бродячей Собакѣ».

Онъ сидитъ ночи напролетъ въ нишѣ краснаго камина, одинъ, молча, часами. Птичье личико блѣдно, кажется, еще блѣднѣе обыкновеннаго, близорукіе свѣтлые глаза щурятся на огонь. Передъ нимъ «на низкомъ столикѣ» остывающая чашка чернаго кофе: вина онъ не пьетъ.

Онъ не любитъ читать стихи, когда его просятъ: «другой разъ, не помню»... Но, иногда, подъ утро, онъ самъ подымает-

ся на эстраду: «Я прочту...». Стихи его путанные, захлебывающіеся, развинченные. Жалко-безпомощные, по большей части. И вдругъ, иногда какой-то истерическій взлетъ:

Отъ крови былъ алъ платочекъ.
Корабль нашъ мысъ огибалъ,
Голубочекъ, нашъ голубочекъ,
Голубочекъ нашъ погибалъ.

Прочтетъ, дернется, растерянно улыбнется на жидкіе пьяные хлопки, — и снова въ свой уголъ, сидѣть до утра, щурясь близорукими глазами на пылающія головни...

— Послушайте, Рюрикъ, зачѣмъ, въ самомъ дѣлѣ, вы просиживаете здѣсь ночи? Вѣдь, вамъ вредно...

— Вредно.

— И томительно...

— Томительно.

— Такъ зачѣмъ же сидите?

Онъ поднялъ глаза. Въ ихъ водянистой голубизнѣ мелькнуло что-то тяжелое, «сумасшедшинка» какая-то...

— Зачѣмъ сижу... Видите-ли... Въ обыденной жизни я изнемогаю отъ сознанія собственной нереальности. А здѣсь, въ этой обстановкѣ, призрачной, нелѣпой, я не чувствую этого... Я призракъ, и кругомъ призраки... И мнѣ хорошо...

И сейчасъ-же — точно испугавшись, — расплывается жеманной улыбочкой:

— Впрочемъ, вы правы, вы правы — это вредно, это надо прекратить. — Воробьемъ прихорашивается: — Ахъ, какъ я разсѣянъ... — воробьемъ пріосанивается. — На вечерѣ у моего дяди... Княгиня Друцкая... Что? Вы будете завтра на вернисcажѣ? Что?..

Щебечетъ, будто и не онъ полчаса назадъ кликушей выкликивалъ:

Отъ этой трезвости, отъ этой мерзости,
Куда уйти?
Неужели, бритвой зарѣзаться!..

**
*

Начальникъ канцеляріи по пріему прошеній на Высочайшее имя, хоть и привыкъ къ просьбамъ самымъ неожидапнным ъ, но, прочтя поступившее къ нему прошеніе «титулярнаго совѣтника Михаила Александровича Ковалева», былъ, должно быть, все-таки озадаченъ.

«Припадая къ стопамъ» царя, «титулярный совѣтникъ Ковалевъ» въ выраженіяхъ «вѣрноподданнѣйшихъ», но твердыхъ, заявлялъ (это было въ 1915 году): отъ службы въ войскахъ онъ отказывается.

Тутъ-же пояснялось, что онъ, Ковалевъ, собственно, и не подлежитъ призыву, въ ближайшее время, по крайней мѣрѣ. Такъ что заявленіе это онъ дѣлаетъ не изъ личныхъ соображеній, а по долгу «передъ Вашимъ Величествомъ и Россіей». Долгъ же этотъ онъ понималъ такъ: сложить оружіе и принять побѣдителя съ колокольнымъ звономъ, «какъ радостное искупленіе».

Легко представить, какой «ходъ» былъ бы данъ этому прошенію, если бы не навели справокъ и не выяснили, что проситель не только «титулярный совѣтникъ», но и племянникъ своего дядюшки.

Узнавъ это обстоятельство, «учли» его: вмѣсто того, чтобы позвонить въ охранное отдѣленіе, позвонили въ государственный контроль. И не жандармы, которыхъ ожидалъ Ивневъ (послѣ подачи прошенія, отъ волненія и ожиданія, онъ заболѣлъ и слегъ), — заплаканная тетушка ворвалась къ нему и увезла, вмѣсто Сибири. . . на Иматру.

**
*

Двѣ маленькія комнаты. Такія узкія, такія низкія и тѣсныя, что даже на комнаты не похожи: футляры какіе-то. И, какъ въ футлярѣ, ничего твердаго: диванчики застелены плахтами, низкія стеганныя креслица, пуховыя подушечки, тряпочки, коври-

ки. На двѣ комнаты одна печка, зато огромная круглая, такъ натопленная, что трудно дышать. На плетеныхъ жардиньеркахъ — герани, въ углу кіотъ, полный образовъ, а если отвернуть кисейную занавѣску, за окномъ виденъ высокій заборъ, утыканный поверху гвоздями, глубокіе сугробы и большая лохматая собака, прогуливающаяся на цѣпи. Гдѣ это? Въ Сибири? На Волгѣ? Нѣтъ, это въ Петербургѣ — отыскалъ Ивневъ квартиру по своему вкусу: послѣ исторіи съ прошеніемъ онъ, вернувшись изъ Финляндіи, поселился самостоятельно.

Въ этихъ комнатахъ-футлярахъ по пятницамъ вечерами собирается человѣкъ по двадцать, двадцать пять. Помѣщаются, какъ-то. Пьютъ чай съ пти-фурами отъ Берена, но половина гостей пьетъ съ блюдечка: общество, которое тутъ собирается, не совсѣмъ обыкновенное.

... Розовый, свѣтло-головый мальчикъ въ рясѣ, послушникъ изъ Сергіевскаго подворья. Рядомъ тоже «духовное лицо», лысый, заплывшій жиромъ дьяконъ, разстриженный за сношенія съ сектантами. Съ нимъ истово, на «о», бесѣдуетъ человѣкъ среднихъ лѣтъ, въ сапогахъ бутылками и поддевкѣ, съ умными холодными глазами. Это поэтъ Николай Клюевъ, «изъ мужичковъ», какъ онъ самъ о себѣ говоритъ. «Мужичекъ» набѣленъ, нарумяненъ и надушенъ «Розъ Жакмино»...

Нарумяненъ и другой поэтъ «изъ мужичковъ» — голубоглазый Есенинъ. Въ перемежку съ ними — лицеисты, правовѣды, какой-то бывшій вице-губернаторъ, побывавшій въ ссылкѣ, какой-то изобрѣтатель «сердечнаго магнита» — наивѣрнѣйшаго средства привлечь сердца отступниковъ на лоно старообрядчества. Прихлебывая чай, кто съ блюдечка, кто по всѣмъ правиламъ англійскаго воспитанія, часами ведутъ странные разговоры о Книгѣ голубиной, о магнитѣ сердечномъ, и о новомъ Іерусалимѣ, который воздвигнется «на Руси», когда кончится война и настанетъ «царство Христово»...

— Скоро, скоро, дѣтушки, забьютъ фонтаны огненные, застрекочутъ птицы райскія, вскроется купель слезная, и правда Божья обнаружится.

— Аминь, аминь...

— Que Dieu nous benisse.

И хозяинъ, растерянно улыбаясь, щурится и нюхаетъ англійскую соль.

Это въ 1915-1916. Понемногу составъ посѣтителей мѣняется. Въ 1917 въ креслѣ, гдѣ Клюевъ вѣщалъ о «Купели слезной» — Анатолій Васильевичъ Луначарскій сладко и гладко бесѣдуетъ о марксизмѣ. Тѣ же, или такіе же лицеисты почтительно слушаютъ, такъ-же хозяинъ подергивается, улыбается и нюхаетъ англійскую соль. И въ жарко натопленныхъ комнатахъ-футлярахъ такъ-же душно и усыпительно пахнетъ немного ладаномъ, немного духами, немного Распутинымъ, немного Циммервальдомъ...



Въ 1918 г. Рюрикъ Ивневъ, встрѣтивъ меня на улицѣ, предлагалъ мнѣ: хотите служить у насъ? Не хотите? Но почему? Совѣтская власть — Христова власть.

И, растерянно улыбаясь:

— Я, вѣдь, не революціонную службу предлагаю вамъ, не въ Че-ка, — тутъ онъ задергался и въ глазахъ мелькнула знакомая «сумасшедшинка», — хотя у насъ всякая служба чистая, даже въ Че-ка, да, даже въ Че-ка. Но я вамъ не это предлагаю: намъ всюду нужны люди — мѣсто директора императорскихъ театровъ свободно, директора публичной библіотеки. А? Почему не хотите?

Я смотрѣлъ на этого «сильнаго міра сего», такъ легко распоряжающагося директорскими постами, на его птичью мордочку, дергающуюся щеку,, разорванную рубашку, измятый костюмъ и почувствовалъ къ нему необъяснимую, острую, пронзительную жалость, почти нѣжность. Такъ и въ Че-ка чистая служба? Ну, что-жъ. Блаженны нищіе духомъ...

— Не хотите? — Онъ дернулся, по воробьиному пріосанился. — Очень жаль. Но... можетъ быть, вы думаете, что у насъ Богъ знаетъ кто служитъ, сбродъ какой-нибудь?

— C'est plein de gens du monde!..

XIV

Передъ самымъ большевицкимъ переворотомъ мнѣ понадобилось зачѣмъ-то повидать беллетриста Муйжеля.

Помнитъ-ли кто-нибудь еще это имя? Имя, пожалуй, но ужъ писаній, навѣрное, никто. Муйжель былъ одинъ изъ такъ называемыхъ писателей «съ убѣжденіями», писавшихъ «изъ народной жизни» суконнымъ языкомъ. Писатели этого рода держались отъ прочей литературы, «декадентской и безпринципной», въ сторонѣ. У нихъ были свои читатели, свои Сентъ-Бевы — Фриче и Бончъ-Бруевичи, свои собственные «съ убѣжденіями» поэты, вродѣ нѣкоего Черемнова, отрывокъ изъ стиховъ котораго я до сихъ поръ твердо помню:

Пировать въ горящемъ домѣ, спать у пасти крокодила,
На бушующемъ вулканѣ затѣвать лихую пляску
Никому на умъ, конечно, никогда не приходило,
Ибо всѣ предвидѣть могутъ неизбѣжную развязку.

Далѣе, въ стихахъ, столь-же звонкихъ, пояснялось, что это царское правительство спитъ у крокодильей пасти и пляшетъ на вулканѣ.

Не помню ужъ, что мнѣ могло понадобиться отъ Муйжеля, человѣка совсѣмъ другого литературнаго круга, чѣмъ тотъ, къ которому принадлежалъ я. Я его едва зналъ, за три года войны ни разу, кажется, не встрѣчалъ его долговязую, уны-

лую фигуру. Но, вотъ, понадобилось что-то. Адресъ, который мнѣ сообщили, оказался адресомъ какого-то военнаго учрежденія — штаба, управленія. Я спросилъ Муйжеля. Черезъ минуту ко мнѣ вышелъ щеголеватый прапорщикъ.

— Вы къ командующему X. дивизіей? Его нѣтъ. Онъ на фронтѣ.

— Да нѣтъ-же. Я къ Муйжелю, писателю.

— Точно такъ. Это онъ и есть. Только онъ теперь на фронтѣ. Впрочемъ, если что-нибудь спѣшное, могу передать по прямому проводу...

... «Это онъ и есть»... Муйжель, надежда Фриче? Въ крылаткѣ, съ убѣжденіями, съ калошами, насквозь штатскій?..

Впервые тогда я съ неотразимой ясностью почувствовалъ, что «дѣло плохо». «Дѣло» было, дѣйствительно, плохо: черезъ мѣсяцъ должно было произойти то радостное событіе, десятилѣтній юбилей котораго не такъ давно отпраздновали.

Въ нашей рабоче-крестьянской странѣ,
Въ нашей далекой Россіи...

Въ 1917 году то, что Муйжель «генералъ» — меня поразило, потрясло. Но къ чему не привыкаешь? Когда, въ 1919 году, я встрѣтилъ на Невскомъ двадцати двухъ лѣтнюю красивую, надушенную и разряженную женщину и услышалъ отъ нея:

— Приходите къ намъ. Адмиралтейство, главный подъѣздъ. Вѣдь я — очаровательная улыбка — «комарси», я не удивился.

А «комарси» значило — командующій морскими силами.

Сѣрые глаза блестятъ, подкрашенныя губы улыбаются... Шубка голубая, платье сиреневое, лайковая перчатка благоухаетъ Герленовскимъ «Fol arôme»...

И — «комарси»...

И я — не удивился почти. Что-же такое? Была барышня Ларисса Рейснеръ, писавшая стихи о маркизахъ. За барышней ухаживали, надъ стихами смѣялись. И вотъ теперь эта барышня

— «комарси»», — можетъ сейчасъ же распорядиться, чтобы Балтійскій флотъ шелъ бомбардировать Финляндію.. . Но я не удивился. Что же такое, дѣло житейское. Въ 1919 году, вообще, мало чему удивлялись. Развѣ ужъ чему нибудь, въ самомъ дѣлѣ, колоссальному. Бутылкѣ коньяку, напримѣръ.

Я поцѣловалъ руку командующему флотомъ въ синей шубкѣ и обѣщалъ какъ-нибудь зайти.

— Непремѣнно, непремѣнно, приходите... Адмиралтейство, главный...

Женщина всегда женщина — Лариса Рейснеръ, говоря, что она «комарси», немного прихвастнула: «комарси» былъ, собственно, ея мужъ, мичманъ Раскольниковъ. Сама же Рейснеръ носила всего лишь званіе «замѣстительницы комиссара по морскимъ дѣламъ» (тоже ничего себѣ чинъ: по буржуазному — товарищъ министра).



Я познакомился съ Ларисой Райснеръ нѣсколько раньше, чѣмъ она начала появляться въ литературныхъ салонахъ, а ея стихи о маркизахъ — въ средней руки журналахъ. Если не ошибаюсь, познакомился я съ ней весной 1913 года.

Среди множества высокопочтенныхъ профессоровъ, съ которыми мнѣ приходилось въ Петербургѣ встрѣчаться, было нѣсколько не такихъ уже почтенныхъ, какъ это ученому и сѣдовласому профессору полагается. Ничего предосудительнаго они не дѣлали, люди были разные, разныхъ наружностей, разныхъ вкусовъ и разныхъ спеціальностей, — но во всѣхъ было нѣчто ихъ объединяющее, неуловимое и явное въ то же время, какой-то флюидъ «непочтенности», распространявшійся отъ этихъ двумчивыхъ лысинъ, солидныхъ очковъ, «благоухащихъ сѣдинъ», казалось бы, неотличимыхъ отъ прочихъ сѣдинъ и лысинъ, составлявшихъ гордость петербургскаго ученаго міра. Но вотъ, все же, что-то неуловимое отличало. Это не было мое личное впечатлѣніе. Какъ разъ объ отцѣ Ларисы Рейснеръ Гумилевъ какъ-то, смѣясь, сказалъ:

— Знаешь, смотрю я на него, и меня все подмываетъ взять его подъ ручку: — Профессоръ, на два слова, — и, съ глазу на глазъ, ледянымъ тономъ: «Милостивый государь, мнѣ все извѣстно».

— Ну?

— Затрясется, поблѣднѣетъ, начнетъ упрашивать.

— Да что-же тебѣ извѣстно?

— Ничего рѣшительно. Но, увѣренъ, что смутится. Обязательно какая-нибудь грязь у него за душой.

Теперь, кстати, то неуловимое, что чудилось когда-то не мнѣ одному въ этихъ людяхъ, такихъ разныхъ, и таинственно ихъ объединяло — пріобрѣло форму болѣе реальную, ощутимую не только одной бездоказуемой «интуиціей»: большинство профессоровъ съ этимъ мистическимъ «душкомъ» составляетъ нынѣ цвѣтъ «марксистской» профессуры...



Былъ (кажется) 1913 годъ, была (навѣрное) весна. Съ острововъ, по Каменноостровскому, тянуло блаженной свѣжестью петербургскаго апрѣля. Я шелъ медленно: идти было очень пріятно, цѣль же моей прогулки была очень скучная. По порученію одной редакціи, гдѣ я недолго и довольно малоуспѣшно исполнялъ обязанности секретаря, я шелъ переговариваться съ профессоромъ Рейснеромъ о какихъ-то передѣлкахъ и сокращеніяхъ въ какой-то его статьѣ.

По широкой лѣстницѣ ультра модернизованнаго дома я поднялся на третій этажъ. Лакированная дверь, мѣдная доска: профессоръ Рейснеръ. Но на мой звонокъ никто не открывалъ. Я позвонилъ еще — то же самое. Можетъ быть, звонокъ испорченъ? Я хотѣлъ постучать и толкнулъ дверь. Она безъ шума распахнулась.

Изъ прихожей, прямо противъ меня была видна большая бѣлая комната съ роялемъ и цвѣтами, — гостинная, должно быть. Окно въ ней было «фонаремъ», большое зеркальное

стекло, ничѣмъ не завѣшенное, на садъ и розовое вечерѣющее небо.

На фонѣ этого окна стояли дѣвочка лѣтъ пятнадцати и мальчикъ — морской кадетъ. Они не слышали, какъ я вошелъ. Должно быть, они ничего не слышали: они цѣловались.

Они стояли, отодвинувшись другъ отъ друга. Она, положивъ руки на погоны, онъ, остро́жно держа ее за талію, совершенно такъ, какъ на наивныхъ англійскихъ картинкахъ изображается «первый поцѣлуй».

Первый или нѣтъ, поцѣлуй былъ очень продолжительный. Что мнѣ было дѣлать? Я кашлянулъ. Морской кадетъ отдернулъ руки и быстро отвернулся къ окну. Дѣвочка слабо ахнула, потомъ, мотнувъ бѣлокурой головой, пошла мнѣ навстрѣчу. Лицо ея пылало, глаза блестѣли. Признаюсь, когда она подошла ближе, я позавидовалъ морскому кадету, съ независимымъ видомъ теребившему свой рукавъ — такъ прелестна была его подруга. Она была совершенной красавицей.

Профессоръ, заодно съ дочерью, должно быть, меня проклялъ. Я потревожилъ его послѣобѣденный отдыхъ: его острое личико было заспано и помято. Но принялъ онъ меня съ преувеличенной, прямо одуряющей, любезностью. Еще пенсне, со сна, плохо держалось на его носу, и розовѣла разогрѣтая подушкой щека, а онъ уже протягивалъ мнѣ сигару, потчивалъ портвейномъ и говорилъ, говорилъ — сладко, вкрадчиво, «душевно». Говорилъ о молодежи, о святомъ искусствѣ, свободѣ, идеалахъ, свѣтломъ будущемъ человѣчества и о многихъ другихъ высокихъ и глубокихъ предметахъ, о которыхъ со мной, секретаремъ редакціи, пришедшимъ по дѣлу, пожалуй, можно бы и не говорить.

Голосъ у профессора Рейснера былъ удивительно мягкій, удивительно «подкупающій». Такъ же мягко, такъ же «душевно», помню, звучалъ этотъ голосъ на какомъ-то оффиціальномъ собраніи въ Домѣ Ученыхъ передъ голодными и заморенными «дорогими коллегами» изъ числа тѣхъ, которые, изъ за отсутствія въ ихъ природѣ указаннаго выше «флюида», въ число «красныхъ звѣздъ» не попали, скромно перебиваясь ме-

жду торговлей собственными портьерами и академическимъ пайкомъ. Душевно и подкупающе профессоръ говорилъ о «святой наукѣ» и, попутно, о своихъ заслугахъ передъ ней:

— Достаточно сказать, что въ числѣ моихъ учениковъ есть трое ученыхъ съ европейскими именами, десять кавалеровъ краснаго знамени, четыре (особенно бархатная модуляція) предсѣдателя Че-Ка.

* * *

— Да, да, въ ссылку, по этапу, въ Сибирь, на висѣлицу, на костеръ.

Она распахиваетъ шубу и откидываетъ голову. Какое прекрасное «гордое человѣческое лицо»! Два года назадъ, тамъ, у окна, въ ея полудѣтскомъ силуэтѣ, мнѣ почудилась Психея. Теперь эта красота отяжелѣла какъ-то. Нѣтъ, не Психея. Скорѣе Валькирія. . .

Сани летятъ по рыхлому снѣгу, по льду, черезъ Неву. Желтый зимній разсвѣтъ медленно расползается по небу. Послѣ безсонной ночи кружится голова. И это удивительное лицо, эти сѣрые, сіяющіе, широко раскрытые глаза, эти отрывистыя слова, «печальныя и страстныя».

— Да, въ ссылку, на костеръ. Я не могу такъ жить. Я не хочу такъ жить.

Съ того времени, какъ я впервые увидѣлъ Лариссу Рейснеръ, прошло года три. Я часто встрѣчаю ее то тамъ, то здѣсь по разнымъ литературнымъ мѣстамъ. Особенной дружбы между нами нѣтъ: стихи ея мнѣ чрезвычайно не нравятся, манера держаться — тоже. Она держится «по московски»: въ одно и то же время и «декаденткой», и синимъ чулкомъ, и «товарищемъ», и потрясательницей сердецъ. На мой «петербургскій» взглядъ, все это достаточно безвкусно. Короче — я давно не завидую морскому кадету. Но. . .

Но сейчасъ, подъ этимъ блѣднымъ небомъ, на пустынной Невѣ, глядя въ ея удивительное лицо, слыша ея голосъ, я какъ-то забываю все это и испытываю что-то вродѣ страха, какъ передъ существомъ изъ другого міра. Валькирія? . . Можетъ

быть, и впрямь Валькирія. Въ Сибирь?.. На костеръ?.. Пожалуй, и впрямь пойдетъ въ Сибирь, не побоится костра...

Тутъ «спасительная иронія» приходитъ мнѣ на помощь. Я вспоминаю снова, что Валькирія эта — просто барышня, съ провинціальными замашками, пишущая плохіе стихи, которую я везу съ «бала» у Юрія Слезкина, гдѣ подавалось много шампанскаго («Донского», по случаю войны).

И «вспомнивъ», говорю съ соотвѣтственномъ тонѣ:

— У васъ 'Vin triste, Лариса Михайловна.

Но она не слушаетъ. Она глядитъ широко раскрытыми, грустными сѣрыми глазами на небо, такое же сѣрое, такое же грустное.

И, помолчавъ, тихо, точно про себя, говоритъ:

— Нѣтъ, ничего не хочу, ничего не могу. Въ сказкѣ — каменное сердце. Каменное? Это еще ничего. Но если мертвое, мертвое?...

***

Пышныя залы Адмиралтейства ярко освѣщены, жарко натоплены. Отъ непривычки къ такому теплу и блеску (1920 г. зима) гости неловко топчутся на сіяющемъ паркетѣ, неловко разбираютъ съ разносимыхъ щеголеватыми балтфлотцами подносовъ душистый чай и сандвичи съ икрой.

Это Ларисса Рейснеръ даетъ пріемъ своимъ старымъ богемнымъ знакомымъ. Пришли многіе, кто — прослышавъ о икрѣ, кто — просто изъ любопытства. Что-жъ, если забыть «особыя обстоятельства», то пріемъ какъ пріемъ: кавалеры шаркаютъ, дамы щебечутъ, хозяйка мило улыбается направо и налѣво.

Нѣкоторыхъ она беретъ подъ руку и ведетъ въ небольшой темно-красный салонъ, гдѣ пьютъ уже не чай, а ликеры. Это для избранныхъ. Удовольствіе выпить рюмку бенедиктина нѣсколько отравляется необходимостью дѣлать это въ обществѣ мамаши Рейснеръ, папаши Рейснеръ и красиваго нагловато-любезнаго молодого человѣка — «самого» Раскольникова.

Компанія, что и говорить, высокопоставленная. Ее такъ и зовутъ: «Ревсемейство».

Я, увы, попадаю, въ число «избранныхъ». Ведя меня черезъ министерскіе покои, Ларисса Рейснеръ роняетъ тономъ лэди Асквитъ:

— Какое безобразіе эта позолота, лѣпка. Вкусъ нашего предшественника адмирала Григоровича. Все надо отдѣлывать заново, все...

**
*

Послѣдній разъ я видѣлъ Лариссу Рейснеръ на балу «Дома Искусствъ». Ей, должно быть, было очень весело — она все время смѣялась и все время танцовала. Голубое широкое сіяющее полумаскарадное платье очень шло къ ней. Въ немъ она казалась моложе, тоньше, легче, опять была похожа на ту дѣвочку съ наивной картинки, не Валькирію — Психею...

Потомъ я только слышалъ о ней. Слышалъ разное. О смертныхъ приговорахъ, которые она, говорятъ, подписывала. О капитанѣ Щастномъ, котораго кормила завтракомъ и развлекала милой болтовней, покуда шли послѣднія приготовленія къ его «суду» и разстрѣлу. Уже заграницей я узналъ, что Раскольниковъ ее бросилъ. Потомъ, въ какой-то совѣтской газетѣ, прочелъ ея некрологъ, глупый и напыщенный, какъ всѣ совѣтскіе некрологи.

XV

«Кирпичъ въ сюртукѣ», — словцо Розанова о Сологубѣ.

По внѣшности, дѣйствительно, не человѣкъ — камень. Движенія медленныя, натянуто-угловатыя. Лысый, огромный черепъ, маленькіе, ледяные сверлящіе глазки. Лицо блѣдное, неподвижное, гладко выбритое. И даже большая бородавка на этомъ лицѣ — каменная.

И голосъ такой-же:

Лила, лила, лила, качала,
Два тѣльно-алыя стекла.
Бѣлѣй лилей, алѣе лала.
Была бѣла ты и ала...

Читаетъ Сологубъ, и кажется, что это не человѣкъ читаетъ, а молотокъ о стѣну выстукиваетъ эти ровныя, мѣрныя, ничего не значущія слова.

«Обращеніе» тоже соотвѣтствующее:

Молодой поэтъ, признанная «восходящая звѣзда», звонитъ Сологубу по телефону:

Феодоръ Кузмичъ, это вы?

Я.

Говоритъ X. Я хотѣлъ бы придти къ вамъ...

Зачѣмъ?
Прочесть вамъ мои стихи.
Я уже прочелъ ихъ въ «Аполлонѣ».
Узнать ваше мнѣніе...
Я о́ нихъ не имѣю мнѣнія.

Сологубъ — инспекторъ какой-то школы на Васильевскомъ островѣ. И какой инспекторъ!

— «Феодоръ Кузмичъ идетъ!»... — И самые отчаянные сорванцы сразу присмирѣваютъ — знаютъ, что шутить не любитъ...

Впрочемъ, что-жъ школьники. Когда меня въ 1911 году впервые подвели къ Сологубу, и онъ уставилъ на меня безцвѣтные ледяные глазки и протянулъ мнѣ, не торопясь, каменную ладонь (правда, мнѣ было семнадцать лѣтъ) — зубы мои слегка щелкнули — такой «холодокъ» отъ него распространялся.

Вотъ что, кстати, сказалъ знаменитый поэтъ начинающему при этой первой встрѣчѣ:

— Я не читалъ вашихъ стиховъ. Но, какіе бы они ни были — лучше бросьте. Ни ваши, ни мои, ничьи на свѣтѣ — они никому не нужны. Писаніе стиховъ глупое баловство и потеря времени...

Самъ Сологубъ началъ заниматься «глупымъ баловствомъ» поздно, годамъ къ тридцати пяти.

Что было до этого? — То же самое.

Пустая, бѣдно обставленная казенная квартира, единицы школьникамъ, прогулка медленнымъ, «каменнымъ» шагомъ по пустыннымъ «линіямъ» Васильевскаго острова. Одинокіе вечера подъ висячей керосиновой лампой, надъ «письменными», или, когда они просмотрѣны, надъ такой же «каменной», какъ онъ самъ, какъ все его окружающее — «Критикой чистаго разума» — любимой книгой.

«Кирпичъ въ сюртукѣ». Машина какая-то, созданная на страхъ школьникамъ и на скуку себѣ. И никто не догадывался, что подъ этимъ сюртукомъ, въ «кирпичѣ» этомъ есть сердце. Какъ же можно было догадаться, «кто-бы могъ поду-

мать». Только къ тридцати пяти годамъ обнаружилось, что подъ сюртукомъ этимъ сердце есть.

Сердце, готовое разорваться отъ грусти и нѣжности, отчаянія и жалости.

***

Однажды, въ минуту откровенности, Сологубъ признался (въ разговорѣ съ Блокомъ):

— Хотѣлъ бы дневникъ вести. Настоящій дневникъ, для себя. Но не могу, боюсь.

Вдругъ, случайно, какъ нибудь, подчитаютъ. Или умру внезапно — не успѣю сжечь. Останавливаетъ меня это. А, знаете, иногда до дрожи хочется. Но мысль — вдругъ прочтутъ, и не могу. О самомъ главномъ — не могу.

— О самомъ главномъ?

— Да. О страхѣ передъ жизнью.

И, въ параллель къ этому разговору, другая обмолвка Сологуба:

— Искусство — одна изъ формъ лжи. Тѣмъ только оно и прекрасно. Правдивое искусство — либо пустая обывательщина, либо кошмаръ. Кошмаровъ же людямъ не надо. Кошмаровъ имъ и такъ довольно.

Я хорошо помню «каменную» улыбку, съ которой говорилось это. Говорилось въ 1914 году въ «блестящемъ» литературномъ салонѣ, и эстетическіе хлыщи съ удовольствіемъ повторяли и запоминали «мѣткій парадоксъ» скупого на нихъ «мэтра». Такъ же, какъ и хлыщи эти, я запомнилъ, потомъ забылъ. Но пришлось еще разъ вспомнить...

Жена Сологуба, Анастасія Чеботаревская, была маленькая, смуглая, безпокойная. Главное — безпокойная. Въ самыя спокойныя еще времена — всегда безпокоилась. О чемъ? О всемъ. Во время процесса Бейлиса, въ обществѣ эстетическомъ и безразличномъ и къ Бейлису и ко всему на свѣтѣ, хватала за руки какихъ-то незнакомыхъ ей дамъ, отводила въ уголъ каких-то нафаршированныхъ Уайльдомъ лицеистовъ и, мигая

широко открытыми сѣрыми «безпокойными» глазами, спрашивала скороговоркой: «Слушайте. Неужели они его осудятъ? Неужели они посмѣютъ?».

— Дда... ваазмутительно... — отвѣчалъ лицеистъ, любезно изгибая станъ и стремясь поскорѣй отъ нея отдѣлаться. Но она не отпускала. Она говорила еще быстрѣе, еще горячѣй и безпокойнѣй. То, что собесѣдникъ глупъ и безучастенъ ко всему на свѣтѣ, кромѣ своего пробора — не замѣчала. Напротивъ, онъ сказалъ «возмутительно», ну, конечно, онъ тоже возмущенъ, какъ она, въ немъ то же безпокойство. Она уже была благодарна, уже видѣла въ немъ друга...

Безпокоилась по важному, безпокоилась и по пустякамъ. Разницы, кажется, не замѣчала. Вѣчная тревога дѣлала ее подозрительной. Съ той же легкостью, съ какой находила мнимыхъ друзей, видѣла всюду мнимыхъ враговъ.

«Враги» — естественно — стремились ущемить, насолить, подставить ножку Сологубу, котораго она обожала. Донести на него въ полицію (О чемъ? Ахъ, мало-ли, что можетъ придумать врагъ!). Умалить его славу, повредить его здоровью. И ей казалось, что новый рыжій дворникъ — сыщикъ, спеціально присланный слѣдить за Феодоромъ Кузмичемъ. Х., изъ почтеннаго, толстаго журнала, — злобный маніакъ, только и думающій о томъ, какъ разочаровать читателя въ Сологубѣ. И чухонка, носящая молоко, врядъ-ли не подливаетъ сырой воды «съ вибріонами» нарочно, нарочно...

Такъ было еще въ «спокойныя» мирныя времена. Что же тогда въ военныя, въ совѣтскія!

Въ 1921 году, послѣ долгихъ хлопотъ, казалось, что сбудется то, о чемъ она мечтала, о чемъ разсказывала, блестя широко раскрытыми глазами, встрѣченнымъ на улицѣ, на лекціи, въ хлѣбной очереди «друзьямъ». То, что она тщательно скрывала (донесутъ, все испортятъ) отъ неимовѣрно возросшихъ въ числѣ и ставшихъ особенно злобными «враговъ». Отъѣздъ за границу.

«Вырваться изъ ада» — на это послѣдніе мѣсяцы ея жизни были направлены всѣ силы души, все ея «безпокойство».

Она не говорила и не думала уже ни о чемъ другомъ. «Вырваться изъ ада». И вотъ, послѣ долгихъ, утомительныхъ, изводящихъ хлопотъ — двери «ада» пріоткрылись. Черезъ двѣ-три недѣли будетъ полученъ заграничный паспортъ. Это навѣрное. «Друзья» помогли, «враги» отступились.

То, что адъ въ ней самой, и никакой Парижъ съ «бѣлыми булками и портвейномъ для Феодора Кузмича» ничего не измѣнитъ — не сознавала. Хлопотала, бѣгала по городу оживленная, веселая. Отводила въ сторону встрѣченныхъ «друзей», оглядывалась, не слышатъ ли «враги». Безпокойно блестя глазами, шептала:

— Черезъ десять дней. Навѣрное. И вы пріѣзжайте.

Что «адъ» въ ней самой, не понимала. Но не поняла ли вдругъ, сразу, въ тотъ вечеръ, когда она безъ шляпы выбѣжала на дождь и холодъ, точно ее позвалъ кто-то? Сологуба не было дома. Женщина, работавшая въ квартирѣ (передъ отъѣздомъ столько дѣла), спросила — надолго ли барыня уходитъ. Она крикнула: «Не знаю». Можетъ, правда, не знала. Можетъ быть, сейчасъ вернется, будетъ обѣдать, уѣдетъ черезъ нѣсколько дней въ Парижъ... Выбѣжала на дождь безъ шляпы, потому что вдругъ, со страшной силой прорвалось мучившее ее всю жизнь безпокойство...

Какой-то матросъ видѣлъ, какъ бросилась въ Неву съ Николаевскаго моста, въ томъ мѣстѣ, гдѣ часовня, какая-то женщина. Онъ не успѣлъ ее удержать. Былъ вечеръ. Фонари въ то время не зажигались. Матросъ не разобралъ ни лица женщины, ни какъ она была одѣта. Кажется, она была безъ шляпы? Кажется, на ней было черное пальто-накидка, какъ на исчезнувшей Чеботаревской?.. Тѣла не нашли, можетъ быть, и не искали. Кому была охота шарить въ ледяной водѣ изъ-за какой-то тамъ жены, какого-то тамъ Сологуба. У петербургскаго пролетаріата были дѣла поважнѣй. Да спустя нѣсколько дней (какъ разъ къ тому сроку, какъ былъ обѣщанъ, только обѣщанъ, разумѣется, заграничный паспортъ) — стала Нева.

⁂

Чеботаревская за мгновенье до смерти все еще «не знала». И Сологубъ съ того осенняго вечера, до весны, когда ледъ пошелъ, и тѣло его жены нашли — тоже «не зналъ».

Онъ не измѣнилъ ничего въ распорядкѣ своей жизни. Въ хорошую погоду выходилъ гулять, — по девятой линіи на Неву, до часовни у Николаевскаго моста, и потомъ по солнечной сторонѣ обратно. Вечеромъ подъ зеленой лампой, въ столовой, — писалъ стихи «бержеретты» во вкусѣ 18-го вѣка или переводы для «Всемірной Литературы» — Готье, Верлена. Когда его навѣщали, онъ принималъ гостей все съ той же холодной любезностью, какъ всегда. Иногда въ разговорѣ — вскользь упоминалъ о Чеботаревской такимъ тономъ, точно она ушла ненадолго изъ дому. Шутилъ, охотно читалъ стихи пастушескіе, легкомысленные «бержеретты»...

... Зеленая лампа бросаетъ неяркій кругъ на покрытый пестрой клеенкой столъ. На столѣ аккуратно разложены книжки и рукописи. Тутъ же вязанье Анастасіи Николаевны. Одна спица воткнута въ шерсть, другая лежитъ въ сторонѣ. Такъ она оставила его въ «тотъ вечеръ». Такъ оно и осталось.

Сологубъ читаетъ стихи. Лицо его обычное, каменно-любезное, старчески-спокойное. И голосъ такой-же, какъ всегда, ровный, безъ оттѣнковъ, тоже «каменный».

А стихи пастушескіе, легкомысленные «бержеретты»:

... Съ позволенья вашей чести,
Милый мой пастухъ Колленъ...

Однажды я засидѣлся. Служанка (та самая, что спрашивала, когда барыня вернется) пришла накрывать столъ.

— Можетъ быть, пообѣдаете со мной, — предложилъ Сологубъ. — Маша, поставьте третій приборъ.

Я отказался отъ обѣда, но, должно быть, плохо скрылъ удивленіе — для кого-же второй приборъ, если для меня ста-

вятъ третій? Должно быть, какъ нибудь это удивленіе на мнѣ отразилось.

И каменно-любезно Сологубъ пояснилъ:

— Этотъ приборъ для Анастасіи Николаевны.

А весной, когда тѣло Чеботаревской нашли, Сологубъ заперся у себя въ квартирѣ, никуда не выходилъ, никого не принималъ. Иногда его служанка приходила во «Всемірную Литературу» за деньгами или въ Публичную Библіотеку за книгами. Это была молчаливая старуха, отъ которой ничего нельзя было узнать, кромѣ того, что «баринъ, слава Богу, здоровы, все пишутъ, велятъ не безпокоиться». Удивляло всѣхъ, что книги, которыя бралъ Сологубъ, были все по высшей математикѣ.

Зачѣмъ ему онѣ?

Потомъ Сологубъ сталъ снова появляться то здѣсь, то тамъ, сталъ принимать, если къ нему приходили. О Анастасіи Николаевнѣ, какъ о живой, не говорилъ больше, и второй приборъ на столъ уже не ставился. Въ остальномъ, казалось, ни въ немъ, ни въ его жизни ничего не измѣнилось.

Зачѣмъ ему нужны были математическія книги, — узнали позже.

Одинъ знакомый, пришедшій навѣстить его, увидѣлъ на столѣ рукопись, полную какихъ-то выкладокъ. Онъ спросилъ Сологуба, что это.

— Это дифференціалы.

— Вы занимаетесь математикой?

— Я хотѣлъ провѣрить, есть ли загробная жизнь.

— При помощи дифференціаловъ?

Сологубъ «каменно» улыбнулся.

— Да. И провѣрилъ. Загробная жизнь существуетъ. И я снова встрѣчусь въ ней съ Анастасіей Николаевной...

... Этотъ приборъ — для Анастасіи Николаевны.

... Да, я много пишу. Все больше бержеретты...

Вотъ это — вчера написалъ:

... Съ позволенья вашей чести,
Милый мой — пастухъ Колленъ...

Голосъ тотъ-же. И улыбка та же. И сюртукъ — побѣлѣлъ только по швамъ. И стихи — бержеретты пастушескія. Ну, да, -- «Искусство только тѣмъ и прекрасно... А кошмаръ»...

***

Много было весенъ,
И опять весна.
Бѣдный міръ несносенъ,
И весна бѣдна.

Что она мнѣ скажетъ,
На мои мечты,
Ту же смерть покажетъ,
Тѣ же все цвѣты,

Что и прежде были
У больной земли,
Небесамъ кадили,
Никли, да цвѣли.

Тѣ же цвѣты, та же смерть. Въ стихахъ этихъ ключъ ко всему Сологубу.

«Искусство одна изъ формъ лжи»? Искренно ли Сологубъ считалъ, что это такъ? Или, напротивъ, боясь, «до дрожи», чтобы въ искусствѣ его не «подчиталъ» кто-нибудь «самаго главнаго» — придумывалъ — «одну изъ формъ лжи» — такія фразы?

Не знаю. И не важно это. Важно другое:

Въ лучшемъ изъ созданнаго Сологубомъ, его стихахъ, никакой «лжи» нѣтъ. Напротивъ, стихи его — одни изъ самыхъ «правдивыхъ» въ русской поэзіи.

Они правдивы «до конца» — и художественно, и человѣчески. И своей сдержанностью, чуждой всему внѣшнему и показному, и — яснымъ цѣломудріемъ отраженной въ нихъ «дѣтской» души поэта.

Совсѣмъ недавно, въ одномъ изъ отвѣтовъ на литературную анкету, Сологубъ былъ названъ «великимъ поэтомъ». Это преувеличеніе, разумѣется.

Въ искусствѣ «великое» начинается какъ разъ съ какой-то «побѣды» надъ тѣмъ «страхомъ передъ жизнью», которымъ заранѣе и навсегда былъ побѣжденъ Сологубъ. Но, конечно, онъ былъ поэтомъ въ истинномъ и высокомъ смыслѣ этого слова — не литераторомъ и стихотворцемъ — а однимъ изъ тѣхъ, которые перечислены въ «Заповѣдяхъ Блаженства».

**
*

И вотъ, Сологубъ умеръ. Въ послѣдній разъ, когда я его видѣлъ (зашелъ прощаться передъ отъѣздомъ за границу, — осенью 1922 года), онъ сказалъ:

— Единственная радость, которая у меня осталась — курить. Да. Ничего больше. Что-жъ — я курю...

Еще пять лѣтъ онъ «какъ-то» жилъ, «чѣмъ-то» жилъ. Курилъ. Писалъ «бержеретты», быть можетъ. Теперь онъ умеръ.

Умеръ въ полномъ одиночествѣ, въ бѣдности, всѣми забытый, никому ненужный. Отъ воспаленія легкихъ, при которомъ не теряютъ сознанія до послѣдней минуты, а вотъ курить, какъ разъ, нельзя...

XVI

Въ 1914 году лѣтомъ по Италіи путешествовалъ молодой человѣкъ.

Онъ только что кончилъ гимназію — это было его первое самостоятельное путешествіе. Ему было семнадцать лѣтъ, онъ былъ очень красивъ — черноглазый, стройный, высокій, — свободенъ отъ всякихъ заботъ, вполнѣ обезпеченъ денежно. Все у него было — молодость, Италія, въ которую онъ былъ влюбленъ съ дѣтства, деньги, которыя можно тратить, не считая, время, которымъ можно распоряжаться, какъ угодно. Вздумалось — и завтра же можно уѣхать: ну, хоть въ Норвегію, или, напротивъ, остаться на мѣсяцъ, на годъ, на два въ этомъ, чуть старомодномъ, уютномъ пансіонѣ, въ бѣлой высокой комнатѣ, гдѣ ползучія розы заплели широкое окно, и сквозь нихъ блаженно синѣетъ Неаполитанскій заливъ... Молодость, свобода, Италія — женщины въ него наперебой влюбляются, каждый день въ пансіонъ, гдѣ онъ живетъ, присылаются цвѣты или раздушенныя записки, адресованныя «красивому русскому, сеньору». Молодость, Италія, свобода — вся жизнь впереди, все ему улыбается... Рай, не правда-ли? Онъ самъ согласенъ — рай. Но...

Но отчего же мнѣ такъ больно
Въ моемъ счастливѣйшемъ раю?

Спрашиваетъ онъ, самъ недоумѣвая.

Отчего, зачѣмъ, въ самомъ дѣлѣ?

Да, — молодость, красота, Италія, вся жизнь впереди, все ему улыбается. Но:

Зачѣмъ же грузъ необъяснимый,
На сердцѣ дрогнувшемъ моемъ?

Эти жалобы семнадцатилѣтняго «баловня судьбы», эти горькіе «зачѣмъ» и «отчего» не пустыя слова, не «поэтическіе образы». Леонидъ Каннегиссеръ тамъ же, въ Италіи, въ своей бѣлой комнатѣ съ окномъ въ розахъ — ведетъ дневникъ. И въ каждой строкѣ этого дневника — то же самое: Зачѣмъ? Отчего?

... У меня есть комната, обѣдъ, книги и полное отсутствіе жалости къ тому, у кого ихъ нѣтъ.

Сказано это не точно. Точнѣе было бы: «И отравляющая жизнь жалость къ тому, у кого ихъ нѣтъ»...

Италія, молодость, свобода — «рай». Но въ раю — «больно», и на сердцѣ — «необъяснимый грузъ».

Зачѣмъ же грузъ необъяснимый,
На сердцѣ дрогнувшемъ моемъ?

Въ одной строкѣ вопросъ, въ слѣдующей — отвѣтъ:

«На сердцѣ дрогнувшемъ»... Да, жизнь «улыбается» этому семнадцатилѣтнему мальчику, да, кругомъ него рай. Но сердце у него «дрогнувшее», и ни въ какомъ раю, самомъ «блаженнѣйшемъ», не находитъ и не найдетъ оно покоя.

Дѣтскіе стихи Леонида Каннегиссера странно перекликаются съ дѣтскими стихами Лермонтова. Помните:

Я рано началъ, кончу ранѣ,
Мой путь немногое свершитъ.
Въ моей груди, какъ въ океанѣ,
Надеждъ разбитыхъ грузъ лежитъ.

И странно перекликаются образы, которые они вызывають: Лермонтовъ «съ свинцомъ въ груди», покрытый шинелью, подъ проливнымъ дождемъ. Каннегиссеръ съ пулей въ затылкѣ, въ подвалѣ Че-Ка.

Два «дрогнувшихъ сердца» — нашедшихъ, наконецъ, покой...

***

Въ «Бродячей Собакѣ», часа въ четыре утра, меня познакомили съ молодымъ человѣкомъ, высокимъ, стройнымъ, черноглазымъ. Точнѣе — съ мальчикомъ. Леониду Каннегиссеру, врядъ-ли, было тогда больше семнадцати лѣтъ.

Но видъ у него былъ вполнѣ взрослый — увѣренныя манеры, высокій ростъ, щегольской фракъ. — «Поэтъ Леонидъ Каннегиссеръ», — назвалъ его, рекомендуя, знакомившій насъ. Каннегиссеръ улыбнулся.

— Ну, какой тамъ поэтъ. Я не придаю своимъ стихамъ значенія.

— Почему-же?

— Я знаю, что не добьюсь въ поэзіи ничего великаго, исключительнаго.

— Ну... Во-первыхъ, «плохъ тотъ солдатъ»... а потомъ, не всѣмъ же быть Дантами. Стать просто хорошимъ поэтомъ...

— Ахъ, нѣтъ. Скучно и не къ чему.

— Такъ что ваша программа — побѣдить или умереть, пошутилъ я.

Онъ улыбнулся однѣми губами, — глаза смотрѣли такъ-же серьезно.

— Вродѣ этого...

— Только поприще для совершенія подвига еще не выбрано?

Онъ снова улыбнулся. На этотъ разъ широкой улыбкой, всѣмъ лицомъ. Семнадцатилѣтній мальчикъ сразу проступилъ сквозь фракъ и взрослую манеру держаться.

— Не выбрано!

... Подъ сводами подвала плавалъ табачный дымъ. Звенѣли стаканы, зеленѣли лица въ яркомъ электрическомъ свѣтѣ. Какая-то женщина танцовала на столѣ, безтолковая музыка прерывалась и вновь гремѣла. Мы сидѣли въ углу, пили то черный кофе, то рислингъ, то снова кофе. Въ головѣ слегка шумѣло. Я слушалъ моего новаго знакомаго. Должно быть, отъ выпитаго вина, онъ разошелся и говорилъ безъ конца. Я слушалъ съ сочувственнымъ удивленіемъ: такую страстную романтическую путаницу «о доблестяхъ, о подвигѣ, о славѣ», стѣны «Бродячей Собаки», вѣроятно, слышали впервые...

... Когда я попалъ къ Каннегиссеру въ гости, мнѣ пришлось удивиться снова.

«У меня соберутся нѣсколько друзей», — писалъ онъ мнѣ въ пригласительной запискѣ. И я живо вообразилъ себѣ — и этихъ друзей, такъ же возвышенно и романтически настроенныхъ, какъ мой ночной собесѣдникъ, и комнату, гдѣ они собираются и толкуютъ объ «идеалахъ», неярко освѣщенную, полную ученыхъ книгъ, съ портретами какихъ-нибудь «вождей». Горячіе разговоры, покраснѣвшія лица, окурки, чай съ лимономъ — словомъ:

До утра мы въ комнатѣ споримъ,
На разсвѣтѣ одинъ изъ насъ
Выступаетъ къ розовымъ зорямъ,
Золотой привѣтствовать часъ...

Представилъ и, несмотря на всю симпатію, внушенную мнѣ Каннегиссеромъ, — мнѣ стало заранѣе скучновато. Но, все-таки, я пошелъ.

... Въ обвѣшенной шелками и уставленной «булями» гостиной щебетало человѣкъ двадцать пять. Лакей разносилъ чай и изящныя сладости, копенгагенскія лампы испускали голубоватый свѣтъ, и за роялемъ безголосый соловей петербургскихъ эстетовъ, Кузминъ, — захлебывался:

... Если бы ты былъ небесный ангелъ,
Вмѣсто смокинга носилъ бы ты орарь...

Половину гостей я зналъ. Другая — по всему своему виду не оставляла сомнѣнія въ томъ, что она изъ себя представляетъ: увлекающіяся Далькрозомъ дѣвицы, дымящія египетскими папиросами изъ купленныхъ у Треймана эмальированныхъ мундштуковъ. Молодые люди съ зализанными проборами и въ лакированныхъ туфляхъ, пишущіе стихи или сочиняющіе сонаты. Общество достаточно опредѣленное и достаточно пустое.

Но мой ночной романтикъ? При чемъ онъ тутъ?

Онъ плавалъ, казалось, какъ рыба въ водѣ, въ этой элегантной гостиной. Костюмъ его былъ утрированно-изященъ, разговоръ томно-жеманенъ. Онъ ничѣмъ — если не считать красоты — не отличался отъ остальныхъ: эстетическій петербургскій юноша...

Намъ философіи не надо.
И глупыхъ ссоръ.
Пусть будетъ жизнь одна отрада,
И милый вздоръ...

Оборачиваясь на публику и поблескивая поощряюще своими странными глазами изъ-подъ пенснэ, ворковалъ Кузминъ.

Я подошелъ и взялъ апплодировавшаго Каннегиссера за локоть.

— Вотъ ужъ не думалъ, что вамъ это можетъ нравиться.

— Какъ? Вамъ не нравится пѣніе Михаила Алексѣевича?

— Мнѣ то нравится. Но съ вашими взглядами на жизнь этотъ «милый вздоръ» какъ будто не вполнѣ совпадаетъ...

— Напротивъ, — онъ насмѣшливо раскланялся, — вполнѣ совпадаетъ. Не обижайтесь на меня, — тогда, въ «Собакѣ», я просто васъ мистифицировалъ. Какіе тамъ подвиги...

И онъ запѣлъ, подражая Кузмину:

Дважды два четыре,
Два да три пять,
Вотъ и все, что мы можемъ,
Что мы можемъ знать...

**
*

Вернисcажи, маскарады, эстетическіе чаи разныхъ артистическихъ дамъ, этотъ ночной подвалъ, гдѣ мы встрѣтились, куда каждую полночь собираются скучать до утра разные изящные бездѣльники, на стѣнкахъ котораго рукой ихъ излюбленнаго поэта, наряженнаго, надушеннаго, накрашеннаго Кузмина, выведено:

Здѣсь цѣпи многія развязаны,
Все сохранитъ подземный залъ,
И тѣ слова, что ночью сказаны,
Другой бы утромъ не сказалъ.

Не сказалъ бы? Можетъ быть. Но «не сказалъ» — не значитъ — забылъ. О, нѣтъ. «Такое» — не забывается. А если и забудется на свѣжемъ морозномъ воздухѣ не до конца еще отравленной эстетизмомъ и праздностью головой — если и забудется, то вѣдь: «все сохранитъ подземный залъ», забудется — снова вспомнится, едва войдешь ночью подъ эти низкіе своды, въ эти пестрыя стѣны. Съ каждымъ разомъ — «забывается» все труднѣй. «Запоминается» все легче. Что? да это самое — что цѣпи развязаны. «Многія цѣпи» — почти всѣ...

На маскарадахъ, вернисcажахъ, пятичасовыхъ чаяхъ и полунощныхъ сборищахъ все тѣ же лица, тѣ же разговоры. Проходятъ годы, точнѣе, сезоны, мѣняются фасоны пиджаковъ и узоры галстуковъ. Больше ничего не мѣняется. Это бытъ. Началось это послѣ 1905 года, кончится въ 1917.

Страшно кончится.

Общественность? — Скука. Политика? — Пошлость. Работа? — Божье наказаніе, отъ котораго «мы», къ счастью, избавлены. Богатые — тѣмъ, что у нихъ есть деньги, бѣдные — тѣмъ, что можно попрошайничать у богатыхъ.

Маскарады, вернисcажи, пятичасовые чаи, ночныя сборища. Міръ уайльдовскихъ остротъ, зеркальныхъ проборовъ, міръ, въ которомъ мѣняется только узоръ галстуковъ.

Кончится это страшно. Но о концѣ никто не думаетъ.

Кончится это такъ. Когда въ оранжерейную затхлость жизни «красивой и беззаботной» ворвется февраль 1917 года, тѣ, въ комъ этотъ «бытъ» не доканалъ еще человѣка — опрометью бросятся на «свѣжій воздухъ». И, чѣмъ больше осталось человѣческаго, тѣмъ стремительнѣй бросятся, тѣмъ менѣе разсуждая...

А рѣзкія перемѣны температуры — опасная вещь.

***

1916 года, зима. Поздно — часа три ночи. Въ гостинной полутемно и тихо. Часъ назадъ здѣсь толпилось и болтало много народу — слышались музыка, пѣніе, смѣхъ. Но теперь гости разошлись, старшіе отправились спать, свѣтъ потушили, и только въ углу, въ неяркомъ желтоватомъ свѣтѣ лампы, «полуночничаютъ» молодой хозяинъ и нѣсколько его пріятелей. Гостинная петербургская и молодые люди «петербургскіе». Эстетическій видъ и эстетическій разговоръ.

Одинъ изъ собесѣдниковъ выдѣляется — одѣтъ онъ какимъ-то мужичкомъ изъ балета. Розовая рубашка, золотой поясокъ, гребень на тесемочкѣ. Впрочемъ, весь этотъ туалетъ тотъ же «дэндизмъ», хоть и навыворотъ. И на «о» этотъ мужичекъ произноситъ такъ-же старательно, какъ остальные грасируютъ. Лѣтъ ему немного — не больше восемнадцати. Лицо простоватое, милое. Фамилія его Есенинъ.

Это все молодые поэты. Разговоры о стихахъ, чтеніе стиховъ. Вотъ, — мужичекъ на распѣвъ читаетъ. Талантливо, даже очень талантливо... если бы только не портила сусальная «народность», та же самая, что въ гребешкѣ и поясочкѣ.

Вслѣдъ за нимъ читаетъ черноглазый хозяинъ:

... Сердце! Бремени не надо!
Легкимъ будь въ земномъ пути.
Ранней ласточкой изъ сада,
Въ небо синее лети...

За хозяиномъ — какой-то бѣлокурый мальчикъ. Тоже не бездарно, тоже гладко и звонко, тоже «легко», пріятно для слуха и не задѣваетъ сердца. Одни стихи лучше, другіе хуже, одинъ образъ удачнѣе, другой нѣтъ, — но это не важно. Важно другое — и въ стихахъ и въ разговорахъ какая-то странная пустота. На ухо пріятно, — сердца не задѣваетъ. Недаромъ часъ тому назадъ, — въ той же гостинной, эти и такіе-же молодые люди съ гладкими проборами и гладкими стихами наперебой просили Кузмина пѣть еще и еще. И тотъ, поблескивая своими странными глазами на окружающихъ юнцовъ, — пѣлъ:

Намъ философіи не надо.
И глупыхъ ссоръ.
Пусть будетъ жизнь одна отрада.
И милый вздоръ.

— Charmant, charmant. Еще, еще, Михаилъ Алексѣевичъ...

Дважды два — четыре.
Два да три — пять.
Вотъ и все, что мы можемъ,
Что мы можемъ знать...

— Еще, еще.

И шепелявый «мужичекъ» въ своей шелковой косоворотке туда-же. И ему по вкусу.

— Михоилъ Лексѣичъ, — про ангела спой...

Если бы ты былъ небесный ангелъ,
Вмѣсто смокинга носилъ бы ты орарь...

... 1916 годъ. Неудачи на фронтѣ все грознѣе. Революція въ «воздухѣ». Да, конечно... Но, вѣдь, мы — поэты, что мы можемъ сдѣлать? А разъ не можемъ — остается одно:

Пусть будетъ жизнь одна отрада,
И милый вздоръ...

Кузминъ поетъ. Отъ его безголосаго, сладкаго пѣнія, отъ его томнаго, страннаго взгляда, отъ этихъ наивныхъ словечекъ и простенькихъ мотивовъ, идетъ незамѣтный, — но страшный ядъ. Тотъ самый, защиты отъ котораго просятъ въ молитвѣ Св. Ефрема Сирина, «Духъ праздности»...

Старый ядъ — вѣрный ядъ. Временами казалось — вывѣтрился. Нѣтъ, не вывѣтрился, все тотъ-же. Оттого-то и нравится такъ это безголосое пѣніе — что идетъ отъ него вѣчное, вѣрное, неотразимое... «Духъ праздности»... Кузминъ тутъ не при чемъ. Ему нравится писать такіе «стишки» и такую «музычку», вотъ именно такую, а не другую. «Искусство свободно» — это всякій гимназистъ теперь знаетъ. И Кузминъ не при чемъ. И слушатели не при чемъ. Ему нравится, и имъ нравится. Вотъ именно это, а не другое. Не Блокъ, не Сологубъ, не Леонидъ Андреевъ, — мало ли кто. Нѣтъ, сейчасъ власть надъ этими человѣческими душами, безъ всякаго сомнѣнія, въ этихъ смугловатыхъ рукахъ, жеманно касающихся клавишъ. Кузминъ тутъ не при чемъ — не онъ, такъ другой. И слушатели не при чемъ — время такое.

1916 годъ. Неудачи на фронтѣ. Близость революціи, — какъ подземный гулъ. Да, конечно... Но, вѣдь, мы поэты, что мы можемъ? А разъ не можемъ:

Пусть будетъ жизнь одна отрада,
И милый вздоръ...

И мужичекъ туда-же:

— Михоилъ Лексѣичъ, спой про яблоню...

А вѣдь, онъ, хоть въ оперной косовороткѣ, хоть и съ золотымъ пояскомъ, — а въ самомъ дѣлѣ — деревенскій парень. И, чтобы попасть въ эту блестящую гостинную, ему пришлось многое снести, и не въ области «обманутой любви и ранняго разувѣренья», а въ самой жестокой, житейской. Ученье

грамотѣ при лучинѣ, тайкомъ, побои, бѣгство изъ дому, скитанье, голодовка, — все что испытали когда-то всѣ русскіе самоучки, стремившіеся «изъ тьмы — къ свѣту». Извѣстно, какой нуженъ «напоръ», чтобы не погибнуть на полъ, на четверть пути. Хватило напору, все вынесъ, не погибъ... И сидитъ въ шелковой рубашкѣ, въ золотомъ пояскѣ, съ подвитыми кудрями. Побои, мракъ, невѣжество, голодъ, — позади. Въ порывѣ къ «разумному, доброму, вѣчному» хватило силъ все перенести. И вотъ, — добился-таки. Паркетъ блеститъ, египетскія папиросы дымятся, и за эраровскимъ роялемъ подрумяненный дэнди, поблескивая пенснэ, воркуетъ и картавитъ.

Сѣетъ...

«Разумное, доброе, вѣчное»? То, о чемъ такъ сладко и жадно мечталось когда-то въ грязной избѣ, при дымящей лучинѣ, за замасленнымъ букваремъ?

Оно самое. Въ 1916 году, въ Петербургѣ, въ разгарѣ войны, наканунѣ революціи, въ самомъ утонченномъ, самомъ избранномъ кругу истина формулируется такъ:

«Намъ философіи не надо...»

Сомнѣній, что это истина — никакихъ. Да никто и не хочетъ сомнѣваться. Всѣмъ нравится. Именно это, — а не другое. И никто не виноватъ.

Пришло время — и ядъ дѣйствуетъ. Пришло время и яду нельзя сопротивляться....

Каннегиссеръ въ 1917 году писалъ:

И, если, шатаясь отъ боли,
Къ тебѣ припаду я, о, мать,
И буду въ покинутомъ полѣ
Съ простреленной грудью лежать,

Тогда у блаженнаго входа,
Въ предсмертномъ и радостномъ снѣ,
Я вспомню — Россія, Свобода,
Керенскій на бѣломъ конѣ...

«О доблестяхъ, о подвигахъ, о славѣ» — онъ давно мечталъ. «Радостная смерть» за Россію, за свободу, за человѣчество — ему давно мерещилась. Но какая жестокая разница между тѣмъ, что мерещилось, и тѣмъ, что оказалось въ дѣйствительности.

... Россія, Свобода,
Керенскій на бѣломъ конѣ?..
Нѣтъ, — подвалъ Че-Ка, сухой трескъ нагана.

***

Мало кто знаетъ, что убійца Урицкаго — былъ поэтомъ.

«Настоящимъ поэтомъ»? Да, настоящимъ. Если бы онъ просто «писалъ стихи», какъ большинство молодыхъ людей его возраста и круга — не стоило бы о нихъ упоминать.

Но Каннегиссеръ былъ впрямь поэтомъ. Онъ погибъ слишкомъ молодымъ, чтобы дописаться до «своего». Оставшееся отъ него — только опыты, пробы пера, предчувствія. Но то, что это «настоящее», видно по каждой строкѣ.

Такъ вотъ — убійца Урицкаго былъ поэтомъ. А что такое поэтъ? Прежде всего, существо съ удвоенной, удесятеренной, утысячеренной чувствительностью. Покойный докторъ Карпинскій, удивительнѣйшій психо-неврологъ, говорилъ:

— Понимаете, если отрѣзать палецъ солдату и Александру Блоку — обоимъ больно. Только Блоку, ручаюсь вамъ, въ пятьсотъ разъ больнѣе.

Не знаю, какъ насчетъ пальцевъ, но въ области душевной, увѣренъ, что «Блоку» всегда больнѣе, чѣмъ «не Блоку», безразлично, солдату или банкиру. Такова ужъ суть «поэтической природы» Не поэтамъ нечего на это обижаться. Радоваться, вѣроятно, тоже нечего...

Итакъ, Урицкаго убилъ не простой «русскій мальчикъ». Урицкаго убилъ — поэтъ.

... На Милліонной схватили, какъ затравленнаго звѣря. Отвезли въ Че-Ка. Что съ нимъ дѣлали тамъ, какъ допраши-

вали? Грозили, что его мать, отецъ, вся семья будутъ разстрѣляны, уже разстрѣляны. Говорятъ — истязали. Долгіе недѣли въ тюрьмѣ въ ожиданіи казни... Никакого просвѣта, никакой надежды...

Каннегиссера очень долго не казнили. Зачѣмъ это было нужно — не знаю. Долгія недѣли такой «жизни» даже трудно себѣ представить. А, вѣдь, онъ «прожилъ» ихъ и, кромѣ страшной судьбы, которую самъ себѣ выбралъ, оставался тѣмъ же Ленечкой Каннегиссеромъ, двадцатилѣтнимъ, веселымъ, влюбленнымъ, гордымъ...

Солдату, когда ему рѣжутъ палецъ, если «и не такъ больно», какъ «Александру Блоку», — все-же страшно, невыносимо больно.

А тутъ еще эта адская «таблица умноженія»:

Красивый × двадцатилѣтній × веселый × влюбленный × гордый... и еще поэтъ.

**
*

Уже здѣсь, въ Парижѣ, я видѣлъ послѣднюю фотографію Каннегиссера, снятую за два или три дня до казни.

Когда родныхъ Каннегиссера выпустили, спустя нѣсколько мѣсяцевъ, изъ тюрьмы, даже мебель изъ ихъ квартиры оказалась наполовину вывезенной. Отъ бумагъ, писемъ, фотографій, разумѣется, ничего — если ужъ рояль взяли въ качествѣ «вещественнаго доказательства».

И, вернувшись, послѣ долгихъ мѣсяцевъ, изъ тюрьмы, родители Каннегиссера не нашли ни одного портрета своего казненнаго сына.

«Все уничтожено», — отвѣтили въ Че-Ка на просьбу вернуть хоть одну фотографію.

Въ кабинетѣ слѣдователя было нѣсколько человѣкъ. Когда отецъ Каннегиссера былъ уже на улицѣ, его окликнули. Чекистъ въ кожаной курткѣ, одинъ изъ бывшихъ въ кабинетѣ. Онъ протягивалъ фотографіи.

— Вотъ. Намъ всѣмъ раздавали. Возьмите.

И, помолчавъ, прибавилъ:

— Вашъ сынъ умеръ, какъ герой...

Два маленькихъ блѣдныхъ отпечатка, такіе, какъ дѣлаютъ для паспортовъ.

Особенно страшенъ одинъ, въ профиль. Это — Каннегиссеръ? Тотъ, котораго мы знали, красивый, веселый, гордый мальчикъ?

Да, Каннегиссеръ. Только ни его красоты, ни молодости, ни веселья, ни стиховъ, — уже нѣтъ. Осталось на этомъ лицѣ только одно — гордость.

Губы крѣпко сжаты. Глаза смотрятъ спокойно и холодно. Волосы гладко причесаны и щеки выбриты. Но есть въ этомъ лицѣ что-то такое, отъ чего вздрогнетъ всякій, взглянувшій на этотъ портретъ, даже не зная, чей онъ, откуда онъ...

**
*

Каннегиссера держали въ Кронштадтской тюрьмѣ. На допросъ въ Петербургъ его возили по морю въ катерѣ. И вотъ разсказъ одного изъ возившихъ матросовъ. Въ серединѣ пути разыгралась буря, и катеръ начало заливать. Каннегиссеръ сказалъ:

Если мы потонемъ, я одинъ буду смѣяться.

Въ томъ, что эти слова подлинныя, не усомнится никто изъ знавшихъ Каннегиссера. Весь онъ въ этой фразѣ. Онъ бы и разсмѣялся навѣрное, если бы катеръ перевернуло. А везли его изъ тюрьмы въ застѣнокъ. Позади — долгія недѣли въ ожиданіи казни. Впереди — никакого просвѣта, никакой надежды...

Балтійское море дымилось,
И словно рвалось на закатъ.
Балтійское солнце садилось
За синій и дальній Кронштадтъ...

ОГЛАВЛЕНІЕ

		Стр.
Глава	I	9
Глава	II	21
Глава	III	32
Глава	IV	38
Глава	V	49
Глава	VI	64
Глава	VII	76
Глава	VIII	87
Глава	IX	99
Глава	X	108
Глава	XI	124
Глава	XII	135
Глава	XIII	146
Глава	XIV	160
Глава	XV	163
Глава	XVI	177

ТОГО ЖЕ АВТОРА

СТИХИ

«ОТПЛЫТІЕ НА о. ЦИТЕРУ». Первая книга стиховъ. СПБ. 1912.

«ВЕРЕСКЪ». Вторая книга стиховъ. Москва, 1916. Изд. «Альціона». 2-е изд. Берлинъ, 1923. Изд. З. И. Гржебина.

«САДЫ». Третья книга стиховъ. СПБ. 1921. Изд. «Петрополисъ». 2-е изд. Берлинъ, 1923. Изд. С. А. Эфронъ.

«ЛАМПАДА». Собраніе стихотвореній. СПБ 1922. Изд. «Мысль».

ПЕРЕВОДЫ

«КРИСТАБЕЛЬ» Кольриджа. Берлинъ, 1923. Изд. «Петрополисъ».

«ОРЛЕАНСКАЯ ДѢВСТВЕННИЦА» Вольтера. (Въ сотр. съ Г. Адамовичемъ и Н. Гумилевымъ). СПБ 1923. Изд. «Всемірная Литература».

«АНАБАЗИСЪ» С. Ж. Пэрса (Въ сотр. съ Г. Адамовичемъ). Изд. Поволоцкаго. Парижъ, 1925.

ПРОЗА

«ТРЕТІЙ РИМЪ». Романъ въ трехъ частяхъ (Готовится).

Imp. de la Sté Nouvelle d'Éditions Franco-Slaves, 22, R. de Ménilmontant, Paris-20



Изданіе Книжнаго Дѣла «РОДНИКЪ»

Libr. « LA SOURCE » 106, Rue de la Tour, Paris (XVIe)